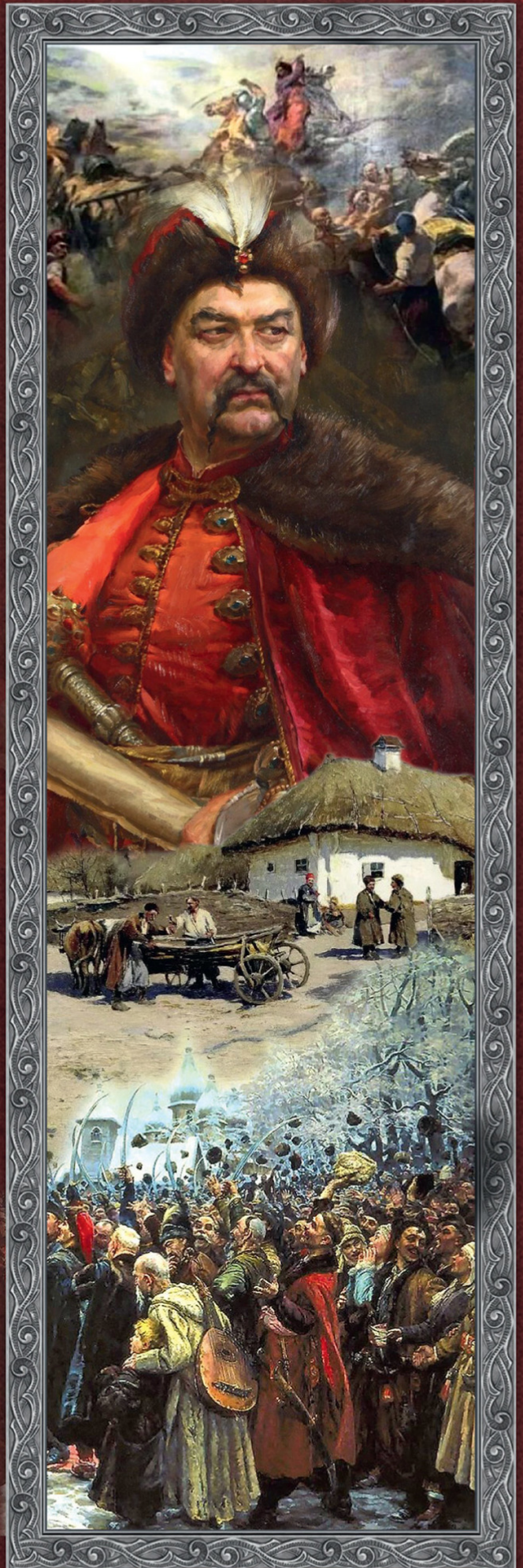




РОССИЯ
ДЕРЖАВНАЯ

ВЛАДИСЛАВ
БАХРЕВСКИЙ

ГЕТМАН
ВОЙСКА
ЗАПОРОЖСКОГО



Долгий путь к себе

Владислав Бахревский
Гетман Войска Запорожского

«ВЕЧЕ»

2019

Бахревский В. А.

Гетман Войска Запорожского / В. А. Бахревский — «ВЕЧЕ»,
2019 — (Долгий путь к себе)

ISBN 978-5-4484-8171-0

Это масштабное произведение рассказывает о судьбе Богдана Хмельницкого — предводителя казацкого восстания, которое стало движущей силой великих событий, приведших к воссоединению Украины с Россией. Хмельницкий — тот камушек, который увлекает за собой лавину недовольства, уже давно копившегося в казацкой среде. Гнев на панов так велик, что иной казак ради мести за все обиды не побоится и собственную бессмертную душу отдать дьяволу, заключить договор на крови. Но только дьявол, как всегда, обманывает и заставляет душепродавца обратиться против своих же, казаков. Этот роман — первая часть дилогии Владислава Бахревского «Долгий путь к себе», посвященной трагической судьбе Украины XVII века. Яркие характеры исторических лиц воссозданы уверенной рукой известного автора.

ISBN 978-5-4484-8171-0

© Бахревский В. А., 2019

© ВЕЧЕ, 2019

Содержание

Часть первая	6
Глава первая	6
1	6
2	7
3	8
4	10
5	11
6	13
7	14
8	15
9	16
Глава вторая	17
1	17
2	18
3	22
4	23
5	25
Глава третья	26
1	26
2	26
3	27
Глава четвертая	29
1	29
2	29
3	30
4	31
5	32
6	33
7	34
8	35
9	36
Глава пятая	37
1	37
2	37
3	38
4	39
5	40
6	42
7	46
8	48
9	48
10	49
11	51
12	51
13	52
14	52

15	53
Глава шестая	54
1	54
2	56
3	57
4	58
5	60
Конец ознакомительного фрагмента.	62

Владислав Анатольевич Бахревский

Гетман Войска Запорожского

Часть первая

Дела домашние

Глава первая

1

«Темнозрачному, адских пропастей начальнику и всем служителям его, демонам, чертям, всем рогатым и хвостатым, премерзостным харям...» Перо скрипело, да так, что лучше бы кожу драли с живого мяса.

Казак намотал на палец оселедец¹, вперился в темный угол и углядел кошачьими своими глазами на земляном полу дувшуюся жабу. Плюнул в сердцах под ноги, отпустил оселедец, выжал из пореза на руке кровь на перо и, прикусывая от старания нижнюю губу, дописал грамоту до конца.

«...Вручаю душу и тело мое, ежели по моему хотению чинити мне споможение будут. Кровью своей подписался казак Иван Пшунка».

Помахал грамотой у себя над ухом, чтоб просохла, а заодно покосил глазом, ожидая явления сатанинского воинства.

Хата была брошенная. Когда-то жила в ней, дожидаясь счастья, дивчина Любомила. Красоты она была чудесной, от здешних парубков отмахивалась, как от мух, – и дождалась проезжего пьяного епископа. Все в этой хате и случилось. Любомила надругательство перенесла и умчалась с его преподобием на вороных, а вот отец-казак не перенес. Выследил дочку в епископском саду да и застрелил. Мать – камень на шею – и в реку. Казака рукастые слуги епископа схватили. До смерти не забили, но и ни одной живинки в теле не оставили. Кинули на проезжую дорогу. Но то ли уполз казак в укромную ямку да и помер тишком, то ли, собрав силенки, ушел в какие-то дали – никому про то неведомо, а ведомо одно – сгинул человек, вся семья сгинула. Осталась хата сиротой – темной силе на расплод.

– Ну, где вы тут? – страшным шепотом прорычал Пшунка. – Али света боитесь?

Дунул на лучину – и опять никого: пол не треснул, крышу не унесло. Выбил Иван Пшунка кирпич в печи, положил грамоту, кирпич на место поставил.

– Ладно, Любомила! Если ты и впрямь среди ихнего брюхорылого братства – помогай. За Степаниду мою пойду панов резать и за тебя, бедненькую, дуреху.

Подождал, не окликнут ли. Нет так нет! Махнул рукой и вылез через выбитое окошко на свет божий.

Тоненький серп новорожденного месяца сиял на нежных украинских небесах. Пшунка вытянул из ножен саблю, и сабля показалась ему родным братом месяца. Коснулся Иван губами клинка – холодом обожгло губы, мурашки по спине хлынули, словно кто ведро ключевой воды шваркнул на спину.

¹ Словарь редких слов см. в конце книги.

Из вишневой рощи, тревожно-белой от цвета, не померкшей, не утонувшей во тьме ночи, вдруг запели дивчата:

Ой не хвалыся, да березонька!
Не ты свою кору выбилыла,
Не ты сее листе да шырочыла,
Не ты сее гилле да высочыла.
Выбилыло кору да яснее солнце,
Шырочыло листе да буйный витер,
Высочыло гилле да дрибен дощык.

– То-то и оно! – потряс чубом Пшунка и слева направо да справа налево рассек саблей воздух. – Не хвалилась бы ты, Степанида, красотой, береглась бы чужого глаза, а пуще того чужих ушей.

Вон как дивчинки стараются! Только что это за пение без голоса Степаниды. Сама невеличка, а в груди будто бы колокол о сорока пудах чистого серебра. Когда Степанида поет, успевай слезы сшибать. Хоть не душа у тебя, а высохший гриб – все равно откликнешься на радостные печали Степанидиного пения. Вот и сидит теперь за дубовыми дверьми, за каменными стенами.

Поворотился казак лицом к замку князя Иеремии Вишневецкого. Стоял замок в темной стороне, а светился, заре вечерней не уступая. У князя пиры шли, приехал к нему молодой князь Дмитрий, которому Иеремия был опекуном.

Гостям на потеху и набрали в замок хорошеньких крестьяночек. Сам князь Иеремия человек был строгого житья, но для дорогих гостей у него – все радости жизни.

Колотило Ивана Пшунку на весеннем воздухе: люди песни поют, люди пируют, а он убивать идет. Но кого? Князя Дмитрия? Так не видал его в лицо ни разу. Князя Иеремию? Так тот с девками не безобразничает. Степаниду? Чтоб не опозорили, бедную? Так, может, и пронесет, помилует ее бог? Срезать бы саблей весь замок – бородавку ненавистную – с лица земли, да только сабля нужна для такого дела заговоренная самим Вельзевулом. Ворваться бы в княжие покои да и разрушить всех и вся, пока самого не убьют.

Закрыл глаза, и привиделось ему: панская белая ручка в перстеньках за пазуху к Степаниде, лаская, ползет.

– У-ух! – замотал головой казачина и кинулся к замку напрямки.

2

Костел был новый, беломраморный, ксендз служил молодой. Позолота на белых статуях Богоматери и Христа, золото на знати – выигрывали, рассыпая сияние. На мраморе настоящий, ледовито-неживой воздух сковывал движения, изумрудный огонь витражей возвышал сердце, и все это – храм, действие священнослужителей – было утонченным продолжением удовольствий, которыми дарила земная жизнь господних избранников.

Орган заиграл радостное. Из недр его, звенящих серебром труб, выплыл глубокий необъяснимый вздох. словно бы сама божественная сила прошла всепроникающим ветром сквозь каменные стены и наполнила храм теплым дыханием. Это было дыхание женщины.

Князь Дмитрий вздрогнул. В его черных, как уголь, глазах задрожали едва уловимые горячие огоньки, так разгораются от дыхания угли.

Князь Иеремия, сидевший рядом, улыбнулся. Он готовил чудо, и ему было приятно, что первая же волна дивного голоса встревожила даже недоросля. Князю Дмитрию было шестнадцать.

Аве Мария...

Так не могла петь женщина. Так глубинно и необъяснимо могла говорить земля. Орган, живое существо, спохватился: уступает первенство! Кинулся брать верха. По трубам, как по ступеням, увлек за собой человеческий голос. Но трубы кончились, а голосу не было удержу – полетел птицей. Сначала глубинно-темный, как земля, он все светлел и засиял наконец, как само небо. Вот здесь-то женщина и выдала себя с головой. Застигнутая на ослепительной вершине полным своим всевластием, она пожалела павших перед нею ниц. Соленая капля слезы вырвалась дождинкой, полетела наземь, чтобы разбиться и умереть от счастья.

У князя Дмитрия задрожали губы. Он поспешно прикрыл рот ладонью, чтоб не всхлипнуть вдруг, и увидал: дядя наблюдает за ним.

Вспыхнул!

Перед дядей вспыхнул: поддался чувству, выдал нежное свое сердце – и перед самим собой: потерял голову от любви к поющей сирене.

Ласково, совсем не по-мужски князь Иеремия положил свою маленькую руку на руку племянника, слегка пожал. И опустил ресницы чудесных черноугольных глаз – наследственной драгоценности князей Вишневецких.

После службы князь Дмитрий, мешкая выходить из костела, усердно разглядывал иконы и скульптуры, и дядя, понимая причину нежданной любознательности племянника, принялся рассказывать, где и у кого приобретены все эти сокровища.

– А это она! – кивком головы указал князь Иеремия на девушку в украинском крестьянском платье.

Румяная коротышка, полногрудая, круглозадая, девка девкой, прошла мимо, стрельнув на князей щелочками любопытных синих глаз.

Князь Дмитрий сделал вид, что не понял, о чем это дядя, но молодость солгать до конца не позволила: сизым пеплом подернулись глаза-угли.

3

Черное дерево блистало. Пылали огромные свечи. Языки огня отражались на потолке, на стенах, шевелились купальскими цветами под ногами. По углам залы стояли шкафы величиной с хату. В каждом по несколько дюжин перемен серебряной столовой посуды. Широкий длинный стол, такой же черный и блестящий, как вся комната, со свечами в серебряных, очень высоких канделябрах, ждал гостей. Из угощений был поставлен один только хлеб в серебряных хлебницах, покрытых тонкими белыми салфетками.

В ожидании обеда гости собрались в кабинете хозяина. Князь Иеремия представил им своего племянника:

– Ясновельможные паны, прошу любить и жаловать. Князь Дмитрий Вишневецкий. Он у нас редкий гость, большую часть года живет в Молдавии. Уж что тут причиной, не знаю: то ли молдавский виноград сладок, то ли молдавские княжны притягательней полек, то ли это зов нашей крови. Моя бабушка – молдавская княжна, из дома Могил.

– Ах, что вы говорите, князь! – воскликнул Дмитрий, вспыхивая. – Какие бы крови во мне ни были, я – поляк!

– Славно сказано! – Седоусый воин, с белым жестким оселедцем, словно бы свитым из конского хвоста, вскочил на ноги, распахнул руки: – Позволь обнять тебя, князь.

И обнял.

– Комиссар Войска Запорожского пан Шемберг, – представил князь Иеремия.

– Вишневецкий.

– Стефан Потоцкий, – поднялся из кресла высокий, красивый, очень молодой и безмерно счастливый человек.

– Вишневецкий!

– Хребтович! – Зверские усы, зверские торчащие брови, лицо в шрамах.

– Вишневецкий! – более звонко, с большим отчаяньем называл себя князь Дмитрий, принимая шута горохового за великого рыцаря.

– Сенявский! – Этот ясновельможный пан был толст, лицом мягок, глазами ласков и доверчив.

– Вишневецкий! – отчеканил князь Дмитрий, смелая, хотя Сенявский-то и был самой крепостью и гордостью оружия Речи Посполитой.

– Чарнецкий!

– Любомирский!

– Лянцкоронский!

Как удары барабана, как золото литавр – фамилии, фамилии. Слава Польши, сила Польши, бессмертие Польши!

Князь Дмитрий хмелел от музыки имен и от того, что его имя никому не уступало ни славой, ни могуществом.

Церемония знакомства закончилась, и князь Иеремия объявил, что сегодня застолье будет мужское, княгиня Гризельда нездорова. Гости сделали вид, что известие их опечалило, но зато все заметно расковались. Пошли разговоры об охоте, посыпались истории любовных интрижек, перемывали косточки канцлеру, воеводам, каштелянам и самому королю.

Пан Хребтович, зная, как лучше всего угодить князю Иеремии, подлил в разговор горючей смеси.

– При шведе Зигмунде поляки клали головы, добывая шведу шведскую корону. Владиславу мы добывали московскую корону, а Марии де Невер будем добывать турецкий тюрбан.

– Стоит ли ворошить прошлое? – поморщился комиссар Шемберг. – Сейм не позволил королю Владиславу начать войну с Турцией, и король послушно распустил наемников.

– А войско было набрано на средства королевы. На ее приданое. Пропали денежки! – расхохотался пан Хребтович.

– Что же тут веселого? – пожал плечами Шемберг. – Теперь королева затаила обиду на все шляхетское сословие.

– Королева получила урок, – возразил князь Иеремия. – Она должна раз и навсегда запомнить, что она королева не над москалями, где бояре называют себя холопами царя, и не во Франции, где дворцовая свора может плести любые интриги вопреки чаяньям дворянства и народа и где все почитают за счастье назвать себя слугой его величества. Мария де Невер – королева в Речи Посполитой, а это значит, что их величества обязуются быть слугами шляхты. Король необходим шляхте для устройства внутренней жизни. Для гармонии. Для того, чтобы шляхта занималась важными жизненными делами государства и была освобождена от тяжкого креста борьбы за личную власть.

– Князь! – воскликнул юный Дмитрий. – Неужели вам никогда не хотелось видеть на престоле поляка?

– Но разве можно желать того, что противно конституции? Горькую чашу и до самого дна выпьет тот поляк, который божьей волей очутится на золоченом стуле, называемом тронем. Случись это – все будут несчастны: народ, шляхта, магнаты и сам король.

– Но почему?

– А потому, что для короля-пришельца мы все – чужие. Он не схватится за саблю, чтобы отомстить за какую-нибудь ничтожную обиду. Он не оттолкнет от себя Вишневецких только потому, что они князья русские, и не приблизит к себе Собесских только потому, что они поляки. Для короля-пришельца все мы на одно лицо: мазуры, русские, куявяки, краковяки...

– В Московском царстве, – возразил пан Сенявский, – думают по-другому.

– Москва – не пример для просвещенного народа, – вспыхнул Вишневецкий, – а сами москали – это медведи, научившиеся ходить на задних лапах. Больше полувека минуло, а Ваньке Грозному и поныне на том свете икается. Он привил своему народу самую подлую рабскую душу: ни один нынешний москаль не отважится сказать прямо о том, что думает. Да он и думать не умеет! На веки вечные напуган и отучен думать. Зато всегда что-то замышляет.

– Дивлюсь на тебя, пан Иеремия! – воскликнул молодой Стефан Потоцкий, сын великого гетмана Николая Потоцкого. – Ты – русский, но в тебе столько ненависти ко всему русскому.

– Я вырос среди поляков, грамоте меня обучили во Львове, душа моя освещена светом римского престола и укреплена в Испании, где отцы церкви беспощадны в вере. Русских я ненавижу за низость. На это быдло никаких сил не хватит, никакого просвещения.

– Я был в Москве, – опять осторожно возразил пан Синявский. – Тамашний народ мне показался весьма благочестивым и богобоязненным. Люди живут по самому строгому жизненному правилу.

– Притворяются! Они даже сами перед собой притворяются! – вскричал князь Иеремия. – Я покажу вам, паны, чего стоит их благочестие. Я покажу вам это сегодня же, но прежде – прошу к столу.

4

Двери в черную залу распахнулись, и к гостям вышли четыре шляхтича из тех, что служили князю Иеремии, с большим серебряным вызолоченным тазом и с серебряным рукомыльником. Началось мытье рук, и тут появились еще четверо дворян с полотенцами.

Не закончилась первая церемония, как открылись двери в стенах, явилось множество слуг с множеством угощений, и стол на глазах преобразился. На серебряных подносах огромные куски мяса, в серебряных соусницах подливы: желтые из шафрана, красные на вишневом соке, черные из слив, серые из протертого сквозь сито лука. Тотчас подали высокие кубки, доверху наполненные вином. Иеремия встал, поднял свой тяжкий золотой кубок с двумя крестами – с рубиновым и с изумрудным:

– Пью за славу и силу Речи Посполитой! Стоять ей со всеми крепостями, городами и весями, укрепляясь и хорошея безмерно во веки веков. Ни время, ни ведовство, ни наука алхимиков не в силах вызеленить эти багряные рубины, изумрудам же не быть цвета пылающей крови, так и нашей республике. Быть ей тем, что она есть. А она у нас – гордая, яснолика и великолепная. Виват!

Восторгом засверкали глаза князя Дмитрия.

– Виват! – закричал он, и новая волна счастья захлестнула его, потому что мальчишеский его голос слился с голосами самых великолепных рыцарей Речи Посполитой.

Кубок до дна! Хмель ударил в голову, и князь Дмитрий сидел улыбаясь, влюбленный во всех и в каждого, кто был за этим столом.

Слуги принесли салаты и сразу же блюда со свиным салом: под соленой капустой, под пшенной кашей, в тесте. И всеми любимое – от короля до последнего голодранца – сало под гороховым отваром.

Пан Хребтович, взглядывая направо и налево, сверял свой аппетит с аппетитом соседей, обреченно вздыхал, а потом встряхивал молодецки оселедцем и отправлял в рот новый кусочек и с того блюда, и с этого, а проглотив, причмокивал губами, прикрывал глаза, вполне наслаждаясь вкушением, которое почитал за величайшее человеческое дело.

Комиссар Войска Запорожского Шемберг смотрел на горы и долины еды с нескрываемым возмущением.

Князь Иеремия, видно, хорошо знал племянника, хотя тот был в Лубнах редкий гость. Шепнул:

– Пан Шемберг – противник пиров, он прикидывает, сколько стоит вся эта еда, и приходит в отчаянье. Он всерьез убежден, что каждое такое застолье приближает бунт.

Заздравные кубки опустошались. Слуги переменили кушанья. Подали оленя, запеченных баранов, поставили судочки с курами, утками и всяческой птицей, добытой на охоте.

– Друзья! – Стефан Потоцкий сбросил кунтуш и с кубком в руках вскочил на стол. – За всех вас!

Запрокидывая голову, осушил кубок до дна.

– Музыку!

Тотчас явился хор мальчиков. И черная душа на миг единый, но светлеет перед чистотой альтов.

«Господи! Пошли мне дело, чтоб смог я совершить подвиг во славу престола твоего!» – прикрыв глаза, взмолился князь Дмитрий.

Пан Хребтович всплакнул, а чтобы слезы его стали всеобщим достоянием, всхлипнул на всю залу и простонал:

– Короста грешной жизни нашей кусками отпадает, очищая душу.

Комиссар Шемберг, слушая ангельское пение, еще больше помрачнел и стал непробиваемо торжественным, как идол.

Хор мальчиков удалился, и нетерпеливый Стефан Потоцкий закричал:

– Скрипачей! Зови скрипачей, князь!

Скрипачи выросли как из-под земли, жиганули по скрипочкам бесовскими смычками, и молодой Потоцкий кинулся плясать гремучий, как порох, куявяк. Пан Стефан был большой молодец! Не пыжился, не умничал. Чего ему было жить ради чьих-то поглядов, когда все ему было дано от рождения: и слава, и богатство, и само будущее Речи Посполитой. Вот и жил он, как мог: ел, сколько хотелось, пил, сколько пилось, делал то, к чему душа рвалась.

Паны, которым приходилось следовать иному жизненному правилу, чье будущее зависело от разговоров и расположений, поспешили поддержать пляску пана Стефана. Куявяк сменила мазурка, и, хоть не было на этом пиру дам, плясали паны вдохновенно и грозно, словно перед языческим божеством войны.

И опять пили. Разгулялись и слуги. Снимали лучшие блюда со стола, утаскивали в свой угол и пировали на свой лад. Хлебали вина, пожирали изысканные блюда, лишь бы побольше, друг перед дружкой.

Пора было нести рыбу. Пьяные, презирающие своих господ, слуги отирали драгоценными кунтушами гостей грязные жирные тарелки, ухали на стол огромные блюда с огромными осетрами, опрокидывали судки с приправами и соусами. Они уже затевали драки промеж себя и распозались по дому в поисках первых подвернувшихся баб.

Князь Иеремия не позволял себе пить меньше, чем пили его гости. Но когда он поднялся из-за стола, движения его были точны и голос прозвучал сильно и трезво:

– Ясновельможные паны, а теперь приглашаю вас на мою псарню.

5

Деревянные щиты огораживали участок поля длиной в сто и шириной в полсотни сажень.

– Ясновельможные паны! Кто из вас желает проверить меткость глаза и твердость руки, прошу к барьеру!

Иеремия Вишневецкий, подавая пример гостям, подошел к дубовому брусу, взял с него ружье, крикнул егерям:

– Пускай!

Егеря открыли клетку. Из клетки выскочил заяц, помчался удирать, но грянул выстрел. Заяц кубарем перелетел через длинные свои уши и даже не дрыгнулся.

– А ну-ка я попробую! – рванулся к барьеру Стефан Потоцкий.

Пустили крупного русака. Пан Стефан выстрелил. Перебил зайцу лапу. Зверек закричал, обреченно прекратил бег, и пан Стефан уложил беднягу из другого ружья.

Гости повалили к барьеру. Егеря пустили сразу дюжину зайцев, загремела веселая канонада.

Князю Дмитрию тоже не терпелось попробовать себя. Все уже натешились, когда он взял в руки ружье. Зайца пустили слишком рано, князь Дмитрий не успел найти удобного положения, заторопился, ружье в руках ходило, а пальнуть наугад князь никак не хотел. Он должен был поразить бегущего зайца с одного выстрела, как дядя Иеремия.

Заяц убежал в дальний угол загона и затаился. В этот серый комочек целить было удобно, и у Дмитрия запылали уши. Он чувствовал вину перед зайцем, но в то же время боялся, что зверек кинется бежать. Тогда мушка снова оживет и станет непослушной. Приклад больно ударил в плечо. Заяц подпрыгнул и упал. Князь Дмитрий перевел дух.

Не решаясь выказать перед старшими радости, он повел глазами по барьеру и увидел казака со связанными руками. Казак стоял возле клеток.

«Кто это? Зачем он здесь?» – подумал князь Дмитрий, но его отвлек лай собак.

Убитых зайцев убрали. Князь Иеремия взмахнул платком, и егеря пустили в загон маленькую серну. Серна помчалась вдоль изгороди, не нашла выхода, замерла, подняв голову с черным вздрагивающим носом и такими же черными влажными глазами.

Князь Иеремия снова махнул платком. Давясь от злобы, в загон влетели четыре огромных цепных пса. Они сразу поняли: ограда – их надежный помощник, и цепью погнали серну к далекой стене, но та, развернувшись, перелетела через свору и помчалась к людям. Псы тоже развернулись, настигли серну и не дали себя обмануть во второй раз. Они рвали и заглатывали дымящиеся куски, и Дмитрий глядел на весь этот ужас, леденя от омерзения. Но рыцарям потеха нравилась, и он терпел. Терпел из последних сил.

Егеря оттащили собак. Убрали растерзанную серну. Привели новых псов, черных, еще крупнее и злее.

Князь Иеремия подал знак. Егеря развязали руки казаку. Толкнули в загон. Казак кинулся назад, вцепился в егерей, повис.

– Принесите его к нам поближе! – приказал князь Иеремия.

Казака притащили к дубовому барьеру.

– Стыдись, Иван Пшунка! Ты же казаком себя называешь! – обратился Иеремия к пленнику. – Окадите его водой, чтоб опамятовался.

На Пшунку опрокинули ведро колодезной воды. Он и вправду пришел в себя. Стоял, окруженный егерями, оглаживал себя, отжимая воду.

– Этот герой, – громко и внятно объяснил князь Иеремия, – замышлял убийство. По его собственным словам, хотел напиться голубой панской крови. Он проник в замок, и, если бы не мои верные шляхтичи, может быть, кому-то из нас и грозила нежданная и подлая смерть из-за угла... За осквернение моего дома, за этот гнусный умысел я бы мог вздернуть мерзавца еще вчера ночью, но, дабы не унижить его геройства, я отменяю казнь через повешенье и даю тебе, казак Пшунка, шанс на спасение. Егеря, поставьте на той стороне загона лестницу. Если ты, Пшунка, добежишь до нее и переберешься через забор, гуляй где хочешь... Избави меня бог от какой-либо несправедливости! Ты получишь оружие. Кинжал. Даже два кинжала. У меня очень дорогие собаки, но лишить тебя оружия – было бы равнозначно обыкновенной травле. За волчьи твои повадки – убивать тайком – будь же во всем подобен волку. Дайте ему оружие, егеря!

– Князь! Князь! – закричал Иван Пшунка, хватаясь за голову и раскачиваясь во все стороны, как сумасшедший. – Князь, пощади. Любую службу сослужу! Любую! Мать родную зарежу. Пощади! Руки поотрубай, ноги! О! О! О!

Рухнул, покатился по сырой земле, раздирая грудь ногтями.

Егеря снова окатили Пшунку водой. Поставили на ноги.

– Значит, ты готов ради спасения своей жизни даже зарезать мать?

Пшунка молчал.

– Готов? – закричал князь Иеремия, наливаясь багровой кровью.

– Готов! – заорал в ответ Пшунка.

Лицо у князя Иеремии стало белым, как исподняя рубаха. Белой рукой отер капельки пота со лба.

«Наверное, эти капельки ледяные», – подумал князь Дмитрий.

– Мать, породившая такого сына, достойна смерти, – сказал князь Иеремия. – Но нам не нужна ее жизнь. Откуда у тебя оружие, где ты его прятал? У кого еще есть оружие?

– Оружие у всех есть! В каждой хате! Я прятал в соломенной крыше. Васька Гонтарь под полом самопал держит. Сенька Упырь в коровнике, под доской, где кормушка.

Пшунка говорил, говорил. И иссяк.

Паны молчали.

– У всех есть! У всех! – закричал Пшунка. – На каждом хуторе, в каждом селе.

– Ну что ж, Иван Пшунка! – сказал князь Иеремия. – Ты столько предал, что заработал себе прощение. Ступай прочь.

И пусто стало вокруг Пшунки. Казак пошел, сначала медленно, то и дело оглядываясь, потом побежал через поле, спотыкаясь о тяжелые комья земли, увязая и падая.

– По коням, ясновельможные паны, – тихо сказал князь Иеремия. – Поглядим, что про нас уготовили наши добрые работающие крестьяне.

6

Дрожа от холода, Пшунка сидел в зарослях дикой цветущей вишни. Белый вишенник, тянувшийся по балке на добрых двадцать верст, словно от сладкой боли, стонал, как стонут натянутые до предела струны лиры. Это паслось на вишневых цветах золотое племя пчел.

За каждым деревом, и деревцем, и побегом стояла здесь любовь. И была тут любовь древняя, но памятная, за красоту свою оставшаяся с людьми. Имя ей – счастливое эхо. И новая, да истаявшая, холодная, как прозябь зимнего тумана. И трепещущая, золотая, как воздух над пашней. И расцветшая, ликующая на весь белый свет соловьиными ночами.

И была здесь любовь-росточек, тоненькая, сверкающая, как первый ледок, как ниточка месяца, глядя на который добрая душа приходит в волнение: не погнул бы ветер какой, не поломал бы, не развеял бы в пыль.

Нет, не любовь свою принес в вишневую рощу Иван Пшунка, принес он сюда свой страх. Колотил его весенний озноб. От рубахи драной много ли проку, а взгляшки бегать – увидят. Пуще смерти боялся Иван Пшунка глаз односельчан. Едва залег он в логове, из которого ему было видно все село, как из замка на конях выехал сам Вишневецкий со всеми панами и с целым полком войска. Полк разбился на отряды, отряды ускакали на все четыре стороны, а Вишневецкий с панами и с телохранителями налетел на село.

Проворные княжеские слуги лезли в тайники наверняка, вытаскивали спрятанное оружие, не забывая прихватить что-либо из утвари себе за труды. Хозяина секли нагайками здесь же, возле хаты. Детишки вопили, бабы мыкались, как испуганные наседки. На все село заревел встревоженный, перепуганный скот...

От первого плача застонала у Ивана Пшунки душа, от другого плача – наизнанку вывернулась, а уж кинулась как беда по селу пожаром, так душа-то Пшункина и вовсе омертвела. Стучи по ней, режь ее – не больно.

Одна его думка теперь занимала. Одна.

«Купили дьяволы душу! Купили по-своему, по-дьявольски, обманно. Ничего взамен. Никакой силы. Разве что жизнь уберегли. Да только уж лучше бы сразу в ад, чем такая земная мука».

Глядел Иван Пшунка заворожено на хату Любомилы, где грамоту он свою спрятал. И на солнце поглядывал. Когда ж, бессовестное, закатится? Придет ночь, и князь Иеремия уймется, а он, Пшунка, заберет у дьявола треклятую свою грамоту. Солнце наконец зашло.

С дальнего края села под конвоем проскрипели три телеги, доверху нагруженные самопалами, саблями, пиками. Легкой рысью проскакал в сторону замка отряд ясновельможных панов. Потянулись, нагруженные добычей, княжеские слуги...

И вдруг хата Любомилы вспыхнула.

Иван Пшунка, заглядевшийся на войско Вишневецкого, сначала дым учуял, а уж потом только увидел – пылает хата. Как свеча пылает.

– У-у-у-у! – по-волчьи завыл Пшунка, и молодая волчиха откликнулась из оврага.

От ужаса оселедец поднялся дыбом.

– Проклят! Проклят! Волки за своего приняли.

7

Ночью он прокрался к хате своей. Хата была низенькая, врытая в землю. Чтоб в окошко поглядеть, нагнуться нужно. Стоял за дверьми, слушал, как мать справляет свою домашнюю работу. Рогачи повалились с грохотом, ведро покатилося.

«Все у нее из рук валится, старая стала. – И вдруг Пшунка подумал: – А кто что знает про меня? Егеря слух могли разнести? Так не успели небось! При псах своих, в замке?»

И решился Иван зайти в хату.

«Хоть сегодня поем, попию да выплюсь как человек».

Поднял руку, чтоб в окошко стукнуть, а дверь сама распахнулась. Вылетела к ногам его котомка. Из глубины сеней голос матери сказал:

– Будь ты проклят, сын мой Иван!

Тотчас дверь затворилась.

Стоял Пшунка не шелохнувшись, слышал – молится мать. Стоял как пригвожденный. И опять ему запах дыма почудился. Дверь отворилась, и с мешком на плечах прошла мимо матушка. Прошла, на хату и на сына не оглянувшись. Прошла к хлеву. Отворила корове дверь, отворила овечий загончик, в курятнике дверь распахнула, в сараюшке, где свинья жила. И не вернулась матушка, чтоб по набитой тропе мимо Ивана пройти, через плетень перелезла.

В окна светом ударило! Заскочил Иван в сени, сорвал из-под крыши связку лука. В хату дверь распахнул. Огонь по стенам шарит, и потолок в святом углу уже прогорел.

Выхватил Иван из печи горшок с кашей, поднял котомку, которую мать ему выкинула, и прочь пошел от пожара.

Шел куда глаза глядят, кашу ел на ходу. Уж потом только котомку развязал, чтоб одеться. А в котомке – детское. Старенькое. Хранилось, видно, у матери. Прижался Иван лицом к тряпицам и услышал запах тельца своего, невинного, запах рук материнских.

Зарыдал.

Кинулся бежать.

Не без памяти. Знал, куда бежит.

В скит, к старцу святому.

Небо, как борщ у казака на польской службе – сплошные звезды. Горят, будто ничего и не было, но всё было. Всё!

И когда стукнул Иван Пшунка в дверь старца, запахнулась она, словно ждали его здесь. За дверью в белых одеждах стоял перед казаком, как привидение, старец. Поднял руку с крестом.

– Прочь! Прочь, сатанинское отродье! – по-птичьи закричал, тоненько, но на всю степь.

– Шею бы ему свернуть! – бормотал Иван, спотыкаясь в темноте. – Как вороне молодой. За шею схватить да и дернуть!

8

Замок стал похож на взбесившийся улей.

Пир из покоев князя перекинулся, как пожар, на дворню. Ходуном ходили полы. Плясали в верхних, господских, этажах, плясали в помещениях прислуги и в бывшей конюшне, где теперь квартировало войско князя Иеремии, ставшее постоянным.

Князь Иеремия покинул пирующих, но никто этого не заметил. Иные гости все еще пили здравицы, а другие уже гуляли вместе со слугами, расположившись для удобства прямо на полу.

Появились музыканты, а потом и дивчата. Пляски пошли веселые, с визгом, чем дальше, тем жарче. Пан Хребтович, бесом прыгая вокруг своей паненки, вдруг подкинул ее в воздух, тряхнул да и вытряс, как куколку, из платья. Словно ледяной воды на раскаленную печь кинули, клубами танец пошел. Рвали паны, следуя примеру Хребтовича, одежки со своих партнерш, да где ж им в ловкости с Хребтовичем тягаться? Некоторые панночки лупили панов по рукам и кричали: «Уж лучше сами с себя снимем, новое платье гоже ли рвать?» Князь Дмитрий сидел за столом пунцовый, но глаз от паненки, с которой танцевал пан Хребтович, отвести не в силах был. Бес пан Хребтович углядел и это. Кинул вдруг даму свою на колени князю Дмитрию. Красавица смехом зашлась, трогая пальчиком пунцовые щеки князя и пушок на его верхней губе.

Князь Дмитрий опомнился не сразу, но опомнился. Уронил и даму свою, и стул. Выскочил из черной залы!

В коридоре, сидя на полу по обеим сторонам огромного подноса с оленем, двое слуг обрывали руками мясо с ребер и совали куски друг другу в рот.

– Где же дядя? – с хмельной тоскою вслух размышлял племянник.

Пошел на поиски.

Всюду кто-то шатался, кого-то рвало. Плотоядно ворочалась и пыхла по углам человеческая плоть.

Князя Дмитрия тоже вдруг стошнило. Заломило в висках. Он побежал в свою комнату. Сбросил перепачканную одежду, умылся. Добрый его слуга, чтоб не обострить муку юного князя, не показываясь, но все приготовил: и воду, и остро-кислые кушанья на утро, и молоко на ночь.

Князь Дмитрий выпил молока, бросился на постель. Стены покачивались, боль в висках не унималась. Хотелось воздуха.

Встал. Оделся в темноте, пошел в храм.

Он будто опустился на дно холодной, ликующей от чистоты и непорочности криницы. Мрамор светился голубым, зажженная на алтаре свеча не умаляла лунного сияния.

Так пламенно и бессловесно он молился впервые в жизни.

Прошелестели тихие шаги. Князь даже не оглянулся. Если это убийца, пусть убьет. Кто-то взял его за локоть и повел.

В притворе была поднята плита, ступени вели в подземелье.

Князь Дмитрий, поддерживаемый твердой рукой, сошел по ступеням вниз. Горели свечи. Перед гробницей на коленях молились князь Иеремия и княгиня Гризельда. Князь Иеремия поднял глаза на Дмитрия и глазами указал место возле себя.

9

Как тень бродил Пшунка под стенами Иеремиева замка... Небо погасло для него, но не умирала, светила, плескала светом единственная, но самая светлая, самая голубая звездочка – Степанида.

Поутру встретил он воз: дивчина везла молоко в замок.

Встал на дороге черный, сгоревший от горя. Дрогнуло у дивчины сердце, согласилась передать Степаниде слова-угли.

«Чудище я! Чудище! Мертвец с когтями! Но подай мне одну лишь надежду на прощение, и я очнусь, оживу. Ко всякому человеку буду добр, ко всякой твари. Неужто тысяча добрых дел меньше единого черного? Пожалей!»

Ждал ответа, сидя в дорожной пыли. И выехал воз из ворот, и сказала дивчина Пшунке, умирая от страха, Степанидины слова:

«От черного быка телята рождаются черные. Не хочу во чреве моем измену выносить, выстрадать, а потом и молоком вскормить».

– Вот теперь я и впрямь мертвец, – сказал Пшунка, – теперь и впрямь на мне когти отрастут.

И явился Иван Пшунка пред очи князя Иеремии.

– Что тебе надо? – спросил князь.

– На службу прими или прикажи забить палками.

Сатанинские черные глаза уперлись в душу Ивана Пшунки.

– Будешь палачом.

Иван Пшунка опустил на колени, припал губами к золоченому княжескому сапогу.

Глава вторая

1

Серый в темных яблоках конь скакнул с дороги через канаву и с тяжелой натугой запрыгал по великолепным шелковым зеленым. Всадница надеялась, что весеннее вязкое поле остановит преследователей – людей грузных, на тяжелых конях. Но преследователи не унялись.

– Прочь, ваше преосвященство! – закричала всадница толстяку. – Я буду стрелять.

Лошадь под епископом была невероятно высокая, несла она многопудовые тела хозяина легко и надежно.

– Геть! – рявкнул епископ двум гайдукам своим, размахивая плеткой. – Геть!

Гайдуки, нахлестывая лошадей, обогнали хозяина, и расстояние между ними и всадницей стало таять так же быстро, как сгорает лучина, опущенная огнем вниз.

У красавицы и впрямь оказался в руке пистолет. Она выстрелила, но – вверх.

– Геть! Геть! – заорал приободрившийся епископ и выбил из своего коня такую прыть, что со стороны казалось: гайдуки и пани стоят на месте.

А сторонний наблюдатель был. С вершины косогора, сидя на лохматой татарской лошадке, глядела, как топчут ее хлеба, пани Ганна Мыльская.

Огромный, рыжий, с белой грудью и белым брюхом конь епископа настигал серого красавца, словно зайчишку гончая.

– Господи! Господи! – закричала в отчаянье бедная панночка, и у пани Мыльской от сострадания выкатилась слеза. Но как бы сильно ни страдала пани Мыльская, она роняла только одну слезу, да и ту из левого глаза, который она все равно прищуривала в решительную минуту, и теперь прищуривала.

Грохнул выстрел!

Коня его преосвященства словно бы подсекли под передние ноги. Толстяк кубарем скаптался в шелковую пшеницу, оставляя широкий след, – не всякий табун лошадей столько добра вытопчет. Мир замер. Оба гайдука таранились на пани Мыльскую, которая сунула за кожаный пояс разряженный пистолет и вытягивала два других. Конь епископа дрыгал ногами, епископ, вжимаясь в податливую землю поля, помаргивая, следил за пистолетами. Пани на сером красавце поняла, что спасена, осадилась лошадь и разрыдалась. Плакать в движении не столь удобно.

А между тем со стороны села Горобцы послышались гиканье и топот: к пани Мыльской шла помощь.

– Эй, вы! – крикнула грозная воительница гайдукам. – С коней долой, если жить хотите. Коней беру себе. Вон сколько пшеницы потоптали. А тебе, ваше преосвященство, лучше пока полежать носом в землю, чтоб дворня моя не прознала про твой позор.

Епископ сообразил, что ему дают совет от доброго сердца, и закрыл голову руками.

– Заберите коней! – приказала пани Мыльская подскакавшей дворне. – И тотчас пришлите ко мне сюда мою карету.

Приказ был исполнен, как в бою, молча и быстро.

– Вставайте, ваше преосвященство! – обратилась пани Мыльская к епископу. – Благословите меня, грешную.

Епископ, чертыхаясь, собрал себя по полю и, припадая на обе ноги, приблизился к благочестивой женщине. Пани Мыльская спешила.

Смирненно выслушала молитву, поцеловала епископу руку и только потом крепко поморщилась:

– Вينيщем-то как несет! Матерь Божия! – но тотчас вспомнила о ближнем и обратилась к пани на серой лошади: – Прими и ты святое благословение.

– От этого! От этого! – Пани так и не нашлась что сказать.

– Не он тебя благословляет, – отчитала ее пани Мыльская, – а сам господь через его посредство.

– Увольте! Увольте меня! – Пани закрыла лицо руками в кружевных перчатках и опять заплакала.

Но карета уже неслась к месту происшествия, и слезы тотчас иссякли: пани не могла себе позволить, чтобы холопское быдло видело слабость шляхтянки.

– До дома или куда вас, ваше преосвященство? – спросила учтиво пани Мыльская.

Епископ склонил побагровевшую выю и решил свою участь:

– До корчмы. Мне в дом мой на своей карете надлежит возвращаться. Пошлите, пани, доброго человека ко мне, чтоб прислали за мной... – и по-орлиному глянул-таки на пани, которую не удалось догнать. – Бог нам и не такое прощает! Простите и вы меня. Силен дьявол!

Развел руками и потряс головой, но без намека на раскаянье, с одним только удивлением:

– Силен злодей!

Садясь в карету, епископ нагнулся, сорвал из-под колес желтый одуванчик и, когда карета тронулась, подбросил его в воздух.

– Каков был бы рыцарь! – не скрыла восхищения своего пани Мыльская.

2

– Мое имя Ирена Деревинская. Я дочь вдовы пана Лаврентия Деревинского.

– Пани Ирена, милости прошу в мой дом.

– Ах, я не знаю, чем и отплатить вам за спасение... Я только вчера приехала в Кохановку. Утро было чудесное. Решила посмотреть окрестности. Выехала на реку, и вдруг – этот ужасный.

– Его преосвященство не промах. Как завидит юбку – удержу не знает.

– Но ведь это безнравственно. Да, я опрометчиво поехала без слуг... Но знаете, что он сказал мне, там, возле реки... вместо того чтобы благословить или хотя бы поздороваться?

– Что же отмочил этот боровак?

– «Пани, – сказал он мне, – не желаете ли отведать епископа?..» Я чуть не лишилась чувств.

– Бог не допустил до греха!

Разговаривая, пани ехали через большое село Горобцы к господскому дому. Когда они сошли с лошадей, привезли седло, снятое с убитой лошади епископа.

– Доброе седло, – сказал слуга. – Пригодится в хозяйстве.

– Поднимись на крыльцо! – приказала пани Мыльская.

Слуга принес седло, пани Мыльская запустила руку в потайной кармашек и достала плоскую серебряную фляжку. Потрясла фляжку над ухом:

– Запасец, кажется, не тронут.

– Пани Мыльская, прошу вас нижайше: распорядитесь дать мне в провожатые несколько ваших слуг. Я умру со страха, пока доберусь до дома. Да я и дорогу теперь одна не найду.

– Куда на ночь глядя ехать! – возразила пани Мыльская. – Оставайтесь у меня, а чтоб вас не искали, отправим в имение самого проворного слугу.

– С огромной радостью принимаю ваше приглашение, спасительница моя! – воскликнула пани Ирена. – Меня до сих пор бьет дрожь. Я так любила охоту, но только теперь поняла, что это такое – быть дичью.

– Красной дичью! – рассмеялась беззаботно пани Мыльская. – Пойдемте отобедаем да и причастимся из посуды нашего знакомца. Чем-то он взбадривает себя?

В доме пани Мыльской жизнь шла самая простая.

– Ухищрений не терплю, – говорила хозяйка, усаживая гостью за крепкий дубовый стол, застеленный тремя скатертями для трех обеденных перемен, – зато крестьянам или слугам мне глядеть в глаза не стыдно. Все сыты, одеты и от работы с ног не валятся.

– Вы что же, поклонница пана Гостомского?

– Я была поклонницей пана Мыльского. А кто таков?

– Пан Гостомский – автор книги «Хозяйство». Он считал, что у каждого крестьянина должна быть лошадь, два вола, сани, плуг, никаких чтоб безлошадников, чтоб все работали, чтобы от всех была польза и прибыль. И представьте себе, он имел средства купить сыновьям доходные имения, за дочерьми дал очень большое приданое и оставил после себя еще сорок тысяч злотых!

Пани Ирена раскраснелась, синие глаза ее блистали.

– Экий странный век! – удивилась пани Мыльская, простодушно разглядывая новую знакомую. – Женщины пекутся об имениях, доходах, считают деньги... Какие же секреты были у вашего пана... как его?

– Пан Гостомский ввел разумную барщину. Крестьяне работали на него двести восемь дней. Они вполне обеспечивали себя и своего пана не только съестными припасами, но и производили бочки, смолу, кирпич, гвозди, масло. С другой стороны, всю торговлю в имениях пан Гостомский забрал в свои руки. Он продавал крестьянам железо, соль, рыбу, кожи. Крестьяне, которые что-то осмеливались купить на стороне, подвергались штрафу в шестнадцать гривен.

– В наши дни такого пана горожане не потерпят, поколотят, а имение его разграбят! – решительно объявила пани Мыльская.

– Да, это – сепаратизм.

Пани Мыльская покосилась на гостью, мудреных слов она тоже не переносила, но смолчала-таки на этот раз. Уж очень ее удивляло: девица, а рассуждает о делах хозяйства заправски, толковой иного управляющего.

– А где же твое имение, я что-то не поняла? – спросила пани Мыльская, собственноручно подкладывая пани Ирене на тарелку самый нежный и сочный кусочек.

– Село Кохановка.

– Как так?! – воскликнула пани Мыльская. – Село Кохановка и все земли вокруг принадлежат князю Иеремии Вишневецкому.

– Это верно! – Глаза пани Ирены потемнели, а по щекам пошли красные пятна. – Князь Иеремия взял у мамы деньги и отдал в посессию села и землю.

– Под залог, значит, – перевела для себя пани Мыльская.

– Да, моя мать дает деньги в рост, – просто сказала пани Ирена, сообразив, что говорить правду – самый верный тон в общении с пани Мыльской. – Отец оставил нам всего десять тысяч злотых, но в имении было несколько рыбных прудов. Мама приказала их спустить все разом и выручила еще тысяч пять – семь. Эти деньги стала давать займы под посессию.

– А ведь кто безденежный у нас? Князья да гетманы. Дивное дело! – Пани Мыльская звонко шлепнула себя по ляжкам. – Чем больше туз, тем больше ему нужно. Екатерина Радзивиллова, из Тышкевичей, все свое серебро закладывала. А у пана Корецкого в посессии, говорят, больше двадцати сел.

– Пан Корецкий в нынешнем году передал матушке моей два больших села.

– Корецкий – мот, но князь Иеремия – серьезный человек. Пол-Украины под ним, а деньги занимает!

– Князь Иеремия содержит армию.

– А на что ему армия? Слава Богу, о войне не слышно.

– Война – мужское дело, но после пережитого я, пожалуй, тоже армию соберу... – У пани Ирены слезы так и закапали в тарелочку с соусом.

– Ну, будет тебе! – пристыдила пани Мыльская. – Истая полька, а глаза на мокром месте. С меня бери пример. Подкорми хорошенько дворню, дай оружие, а на баловство сквозь пальцы смотри.

– Какое баловство?

– Ну, если на дорогах будут пошаливать или хутор какого-нибудь богатого казака пощиплют. – Пани Мыльская налила епископского вина и весело подняла кубок. – Бедным вдовам ждать защиты неоткуда, вот мы сами себя и обороняем. Пей трофей!

Пани Мыльская закатилась молодецким смехом, еще вина налила.

– И крепко, и вкусно. Держись, ваше преосвященство, сама в другой раз наеду. А много ли князь Иеремия денег взял?

Пани Ирена посмотрела на пани Мыльскую с укором, но ответила:

– У Вишневецкого был огромный долг. Он у Мартына Ходоровского двадцать тысяч занимал и только два года назад избавился от кабалы. Закладывал Гнидаву, Великий Раковец, Кохановку... У матушки он взял девять тысяч.

– Неужто казаки бучу затевают? Вишневецкий сквозь землю на косую сажень видит. Не для потехи же ему войско?

Дверь приотворилась, и щекастое лицо сообщило:

– Еще гости приехали. Чего сказать им?

– Кто?

– Пани Выговская с родственницей.

Пани Мыльская поднялась из-за стола, голос у нее стал трубный.

– Иду! Иду! Желанному гостю сердце радуется, – и шепнула: – Украинцы.

«А ведь она совсем не дура!» – подумала пани Ирена.

Пани Выговская излучала тепло, настоящее на маленьких домашних радостях. Едва только она села за стол, пани Ирена наконец-то почувствовала себя сельской жительницей.

«Ей бы спицы в руки», – улыбалась пани Ирена, удивленная переменой в самой себе и в самом воздухе от появления в доме нового человека, который и слова-то еще ни одного не сказал.

– Хелена, где же ты, голубушка? – певуче, радостно позвала пани Выговская.

– Я уже здесь, здесь! – раздался столь же радостный, детский голос, и в дверях появилась девушка.

Пани Ирена вздрогнула. Она привыкла считать себя несравненной. Где бы она ни появлялась – равной ей не было: ни по красоте, ни по уму, в играх, в танцах, в скачке, в стрельбе. Пани Ирена почувствовала во рту тяжелый холодный камешек. И только мгновение спустя опаматовалась, растянула губы, чтобы улыбнуться. Это был позор – она сплеховала перед соперницей.

«Господи! – открылось ей. – Да ведь она – само совершенство. В ней все изумительно. Но такая красота пугает мужчин».

– Зачем вы так меня рассматриваете? – спросила пани Хелена.

– Ах, простите! Нет ничего замечательнее, чем женская красота. Очень люблю смотреть на красивых женщин... Но мне подумалось... Впрочем, это не важно.

– Нет, вы скажите, чтоб потом не гадать, – попросила пани Хелена.

– Как вам угодно. Мне показалось, что вам нелегко живется. И всегда будет нелегко. Уверена: мужчины, даже самые опытные сердцееды, пасуют перед вашей красотой.

– Да, это так! – вырвалось у пани Хелены.

«Она, бедняжка, искренна!» – улыбнулась пани Ирена.

– Ничего! Бог даст, и мужа найдем незлого, и все будет как у добрых людей.

Стоило пани Выговской заговорить, как опять посветлело в комнатах, да ведь и вправду солнышко выглянуло закатное.

– Был бы мир, а свадьбы будут! – проникновенно вздохнула пани Мыльская.

– С кем война-то? – перепугалась пани Выговская. – Слыхала я, король воевать собирался, так сейм у него войско забрал и распустил.

И опять удивилась пани Ирена: поселянка, оказывается, не только у себя на кухне толчется, но и за королевской кухней присматривает.

– В том-то и беда! – воскликнула пани Мыльская, она теперь все свои речи произносила с особым ударением. – Королей можно унять, они на виду у всех. Войну собирается затеять бидло, наподобие той, что ужаснула нас в тридцать восьмом.

– Вы про то, что князь Иеремия отобрал самопалы у своих крестьян? – спросила пани Выговская.

– Так ведь самопалов-то было не один, не два, а несколько возов! Да что там говорить, сами мы во всем и виноваты. – Пани Мыльская картинно закручинилась.

– В чем же мы виноваты? – тихо спросила пани Хелена.

– Не вы, а мы – поляки. Сами жить как люди не умеем и вам, украинцам, жить спокойно не даем. Про бесчинства коронного стражника Самуила Лаца, думаю, все слышали. У него, мерзавца, две с половиной сотни одних баниций да инфамисий три дюжины. Он и с князем Вишневецким воевал, и с Корецким, и с Тышкевичем – киевским воеводой, только ведь до самих князей да великих панов добраться у него руки коротки. Крестьян грабил. А Екатерина Замойская как мстила Изабелле Семашко? Самое большое село Изабеллы ограбила, а потом сожгла. Осквернить украинскую церковь для иного шляхтича – геройство. Девочек насилюют. Не сумеют крестьяне всех повинностей да поборов исполнить – их тотчас и ограбят. Кто за себя слово скажет – убьют. Земли на Украине тучные, люди работающие, жить бы нам тишком, в мире и согласии.

– Да ведь им волю дай, они завтра же, да что там завтра – сегодня ночью вырежут нас! – глядя в упор на пани Хелену, воскликнула пани Ирена, по лицу ее пошли красные, как сыпь, пятна.

– Вырежут, – согласилась пани Мыльская. – Потому что озлобили народ. А меня – не тронут. Я своих крестьян в обиду не даю и лишнего куска у них не отбираю.

– Экий разговор завели! – встрепенулась пани Выговская. – Сын мой Иван, а он человек пресветлоученый, коллегию закончил, так говорит: «Никакой Украины, мамо, скоро не будет. Все наши русские князья: Слуцкие, Заславские, Вишневецкие, Чарторыйские, Пронские, Лукомские – давно уже приняли польскую веру, польский язык и польские законы жизни, а за князьями потянулись родовитые люди: Ходкевичи, Тышкевичи, Хребтовичи, Калиновские, Семашки, Потей. Теперь и наш брат, мелкий шляхтич, смекнул, что выгоднее молиться тому богу, который дает. Дело осталось за народом, а народ глуп и темен. Его пока одним кнутом вразумляют, а если бы вразумляли кнутом и пряником – тише края, чем Украина, во всем мире не было бы». Так говорит мой сын, но его, по молодости да по незнатности, плохо слушают.

Пани Выговская вдруг вспорхнула со стула, замахала ручками:

– Что же это, право, за разговоры-то у нас такие? К добру ли? Лена, подарки-то наши где? Давай подарки.

Обе захлопотали, кликнули слуг. Те принесли корчаги с вареньями да соленьями, дивную, расшитую цветами скатерть.

– То, что ты просила для сыночка своего, я сделала, – сказала пани Выговская. – Варнава обещал помолиться. Истинный подвижник. У него даже имя говорящее. Варнава – значит «сын утешения». Живет как птица. Имущества у него никакого. Питается чем Бог пошлет. Ни

лампад у него, ни икон, а поглядит на тебя и скажет, кто ты есть и что у тебя впереди. «Мои иконы, – говорит, – небо, мои свечи – звезды». Его даже татары почитают.

– Ах, спасибо тебе, милая! Все-то ты помнишь и о всех печешься! – Пани Мыльская растрогалась, расцеловалась с пани Выговской.

– Ты бы и сама к нему съездила, – сказала пани Выговская. – К нему многие идут. Ныне вот поселился молодой Вишневецкий.

– Какой же такой Вишневецкий? – спросила пани Ирена.

– Князь Дмитрий. Князь Иеремия – его опекун, – ответила пани Хелена. – Я видела его в скиту. Расцветающая жизнь и увядающая – было до слез прекрасно смотреть на них.

Пани Ирена улыбнулась, а пани Хелена вспыхнула: ей было неприятно, что искренний восторг ее истолкован двусмысленно.

3

Дух земли, разбуженный весной, тревожил людей. Князь Дмитрий впервые в жизни чувствовал себя свободным и счастливым.

– Хочешь быть к Богу ближе, так иди к нему! – воскликнул старец Варнава, распахивая дверь крошечной своей хибары. – Ступай! Вернешься, когда зайдет солнце.

Князь Дмитрий посмотрел, куда указывает старец, но руки у того были распахнуты. Князь сделал первый нерешительный шаг и оглянулся: не шутит ли святой старик.

– Подожди, – сказал Варнава, он скрылся на мгновение в хатке. – Возьми, чтоб подкрепиться.

Передал несколько кусков хлеба. Князь внутренне содрогнулся: этот хлеб наверняка приношение каких-нибудь грязных старух, может быть, нищенок, – но хлеб взял. Положил за пазуху, пошел.

Впервые он видел землю так близко, ибо никогда не оставался с нею один на один. Земля была огромным жертвенником, воздающим дары солнцу. Зеленой нежной дымкой клубился лес, белое, слепящее глаза облако трепетало над рекой. Словно заросли бестелесных растений, шевелились над дальними полями косицы теплого весеннего пара, а вблизи воздух дрожал, и дрожала от напряженной радости песня жаворонка. Он тоже почувствовал в себе дрожь и поспешил к лесу. Летел как на крыльях, и ему мерещилось, что он такой же легкий и бестелесный, как эта чудодейственная дымка. Он шел по лесу, не защищаясь от веток, и они не били его, а прикасались к нему. К рукам его, к щекам, к непокрытой голове. Он слышал запах крошечных зеленых листьев, капли росы падали ему за ворот. Сладкоголосая птица, запевшая прямо перед ним на кусту, ошеломила. Это было слишком громко и слишком открыто. Птица не испугалась его, и он обошел куст, чтобы не помешать ей. Лес был невелик и скоро кончился. Но тоже чудесным образом. Князь Дмитрий смотрел вверх, на игру веток и солнца, но, видимо, каким-то боковым зрением углядел, что земля поголубела. Боясь замочить ноги, он посмотрел на землю и увидел, что она сплошь заросла барвинками – цветами весны.

Князь Дмитрий остановился, ему вдруг сделалось стыдно самого себя: вот пройдет он сейчас по цветам, подавит красоту, которая не для того же явилась на свет, чтоб умереть под его сапогами. Он пошел стороной, глядя под ноги, а потом увидел сквозь ветки зеленое сверкающее чудо. Это был холм. Забыв глядеть под ноги, князь побежал и остановился только на вершине. Холм был круглый, как шлем.

Открылись дали.

Одно селение, другое. Белые хаты, белые сады, черные поля. С полей слышались голоса. И князь Дмитрий разглядел людей, копошившихся на земле. Шла весенняя большая работа.

«Им все равно, существую я или нет, – подумал о людях, работающих на земле, князь Дмитрий. – Им все равно, кто живет в замке: Иеремия, или отец его Михаил, или другой

Михаил – дед Иеремии, или предок князь Федор, у которого был брат Иоанн, давший начало моему роду – второй ветви Вишневецких. Может, одному Байде были бы рады. Для крестьян, земляных пчел, и времени-то, наверное, не существует. Рождаются в безвестности, работают, совершая безвестный труд, и безвестно умирают. Всё как у пчел».

Сам он родился среди людей, которые знали, от кого они и сколько славы прибыло их роду от каждого колена, и он тоже жаждал большой славы.

Все эти мысли о людях-тружениках и о людях-рыцарях были старыми привычными мыслями. Но теперь в нем совершались перемены, земля смирила гордыню. Он всегда чувствовал родство к цветам и травам, а теперь его вдруг потянуло к работающим людям. Это была неутоленная жажда слияния с миром, живущим по законам самой природы, стало быть, и с Богом.

Князь Дмитрий сбежал с холма и пошел на поле, где крестьянин пахал землю сохой.

– Дозволь мне! – попросил он крестьянина. Работник был не стар и не молод. Лицо в озабоченных морщинах, телом жилистый, как корень. Поглядел на князя карими умными глазами и без усмешки, без удивления уступил место у сохи:

– Потрудись!

На второй уже борозде князь взмок и скинул жупан, на четвертой руки у него дрожали от бессилья и в глазах темнело. Крестьянин подошел к нему, чтоб занять место у сохи, но севшим, оглохшим голосом князь Дмитрий взмолился:

– Погоди! Я еще!

И прошел борозду до края, а на обратной борозде вдруг почувствовал себя легче, пришла вторая сила, и он еще одолел две борозды.

Он шел к себе на холм, не чувствуя от усталости ног, а жилы на руках стонали нестерпимо. На холме, скрывшись от глаз, он упал на землю и заснул. Проснулся от голода. Достал с груди хлеб старца Варнавы и жадно съел его.

4

Каждый день приходил князь на холм. Поля, засеянные и ухоженные, опустели.

То ли холм был высок, то ли пребывание у старца оздоровило душу, но князь Дмитрий чувствовал: сердце его возвысилось, и жизнь замка издали показалась ничтожной. А коль она ничтожна, то может ли оскорбить стоящего над нею? И захотелось вернуться в замок...

Однажды, взбежав на свой холм, князь Дмитрий обомлел: место было занято. Прекрасная пани, разложив на траве скатерть, готовилась к трапезе. Лошадь пани паслась под холмом.

Он хотел отступить, но пани жестом пригласила разделить с ней трапезу. Он покорно сел на траву. Надо было заговорить, но он упустил мгновение и стремительно погрузился в пучину немоты.

Кап!

На скатерть, на самую середину, уронила птичка.

Князь Дмитрий окончательно смутился, словно это была его птичка. Достал платок, тщательно вытер загаженное место и бросил платок от себя.

Пани рассмеялась, очень славно рассмеялась, и князю Дмитрию тоже стало весело.

– Никогда не думала, что князья вблизи такие прелестные! – сказала пани, отрезая ножом кусочек холодного мяса для своего жданного гостя.

У пани Ирены все было рассчитано наперед, не даром она носила фамилию Деревинская.

– Вы знаете, кто я? – спросил князь.

– Знаю. А так как у меня нет кузена, который бы мог представить меня вам, то я осмелюсь это сделать сама. Пани Ирена Деревинская.

Князь Дмитрий вскочил, почтительно поцеловал ручку пани Ирены.

– Я приехала для беседы со святым старцем, но никак не могу решиться постучать в его обитель.

– Что вы! Он очень доступен и прост. Он совершенно прост.

– А я вот, поездив вокруг да около, проголодалась... Какой замечательный вид отсюда.

– Да, замечательный.

– И все-таки – Польша! Наша Висла! Наш Краков!

– Я был в Кракове, но плохо его помню. Лучше всего я знаю Молдавию. Я там живу у родственников. Молдавия мне очень дорога.

– Отчего же так? – Из глаз пани Ирены на душу князя пролилась добрая синева. – Я думаю, здесь не обошлось без любви.

– Ах, что вы! – вспыхнул, как девушка, князь и опечалился. – Простите.

– О, я вижу, как вы страдаете... Вам не с кем было облегчить душу. Святой старец для такой беседы не годится. Тут нужна женщина – слушатель, который все поймет.

Пойманной рыбке деваться было некуда, сеть замкнулась.

– Я сказал неправду, – согласился князь. – Но я и сам не знаю, любовь ли это.

– Она что же, из низкого рода?

– Наоборот! Из самого высокого.

– Не называйте мне имени вашей избранницы, расскажите, что было между вами, и я попытаюсь определить, сколь глубоки ее чувства к вам.

– Это было на свадьбе ее сестры. В Яссах. Я танцевал с нею после Петра Потоцкого, и она спросила меня: «Вам понравилось подвенечное платье моей сестры?» – «Такого великолепия я еще не видел», – ответил я. «А понравилась ли вам моя сестра? – спросила она. – Только говорите правду». – «Красота вашей сестры подобна самой звездной, самой строгой и прекрасной ночи, но ваша красота подобна раннему нежному утру», – так я ответил ей, и она улыбнулась мне и сказала: «На этом главном празднике моей сестры все, будто сговорившись, превозносят мои достоинства, но как вы думаете, к тому времени, когда придет пора выходить замуж мне, я подурнею или похорошею? Только говорите правду». – «Не знаю», – ответил я, и она засмеялась. «На вашем месте пан Потоцкий сказал бы: “В день вашей свадьбы солнце не явится на небосвод, потому что солнце будет одно”. Он так и сказал мне, когда мы танцевали. Не правда ли, сегодня великолепно?» – «А мне хочется на улицу, там столько забав для народа», – так я ей сказал, и она обрадовалась. «Давайте убежим из дворца. Я переоденусь в юношу, и нас никто не узнает...»

Князь Дмитрий замолчал.

– Вам удалась затея? – спросила пани Ирена.

– Удалась. Было очень весело. На площади являлись замки, они сгорали, разбрызгивая звезды. Потом возник великан. Он победил огромного, с башню, льва, а потом ужасающего дракона.

– И что же ваша избранница?

Князь Дмитрий, розовея, опустил глаза:

– Ничего!

– Я смогу помочь вам только в том случае, если буду знать всю правду.

Князь Дмитрий посмотрел на пани Ирену, словно очнувшись от наваждения. Это был взгляд князя.

– Боюсь, что мне никто не поможет. Она теперь в серале турецкого падишаха. Она заложница.

– Но ведь это прекрасно! – воскликнула пани Ирена. – Чем дольше ее продержат в серале, тем больше у вас шансов получить ее руку.

– Вы хотите сказать, что я молод? – В голосе князя вдруг зазвенели предательские слезы. – Но ведь я и вправду мальчишка. Ах, уснуть бы на два года! Мне так их недостает.

– Какие у вас глаза! – Пани Ирена подалась через скатерть, и ее губы были теперь так близко, что князь Дмитрий ощутил дыхание. Оно показалось ему розовым. – Позвольте, я вас поцелую!

– О нет! – Князь вскочил на ноги. – Я ведь здесь на молитве.

Пани Ирена засмеялась. Потихоньку, а потом громко.

– Простите! – Князь Дмитрий поклонился и сбежал с холма.

Он привел ей лошадь, помог сесть в седло.

– Вы – милый, – сказала ему пани Ирена. – Только с вами княжна Роксанда, дочь молдавского господара Лупу, испытает истинное счастье. Помолитесь за меня.

Она стегнула лошадь хлыстом и ускакала.

5

Верстах в двух от скита пани Ирена встретила всадницу.

– Пани Хелена, уж не к старцу ли Варнаве вы так спешите? – Ядовитая улыбка исказила розовые губы Деревинской, а в синих глазах ее загорелись зеленые огни.

– Ах нет! – солгала пани Хелена. – Я еду проведать жену полковника Кричевского.

– На хутор пана Кричевского есть более короткая дорога.

– Та дорога после дождей вязкая, – возразила пани Хелена.

– А вы знаете, какое изумительное открытие я сделала? – Зеленые огни в глазах пани Ирены пожрали всю синеву. – Князь Дмитрий-то – нецелованный!

– Какой князь Дмитрий? – совсем неумело удивилась пани Хелена. – Я не понимаю вас!

– Кланяйтесь от меня пани Выговской, у нее истинно голубиное сердце.

Пани Ирена тронула лошадь, но обернулась:

– Вы после моей истории с его преосвященством не боитесь одна ездить?

– Но вы-то ведь не боитесь.

Пани Ирена похлопала ладонями по седлу:

– У меня пистолеты! И я отныне вверх стрелять не стану.

Глава третья

1

Земля потрескалась, хлеба пожелтели, полысели луга, сады окутала паутина, черви пожрали листья.

Молитвы и богослужения не помогли. Бог не слышал стенаний грешников. Два года подряд, в 1645 и 1646 годах, Украина страдала от саранчи. Новая весна началась теплыми дождями, дружным цветением, обилием трав и – словно косою ее ссекли. Разразилась серая духота.

Даже речки укротили свой бег. Едва-едва шевелились, а маленькие-то и вовсе сквозь землю ушли.

Пани Мыльская позвала к себе домой на угощение трех самых мудреных старух: Лукерью, Матрену и Домну. Всем им было за семьдесят, но горилки они выпили добрых полведра, потешили хозяйку старой песней, а потом губы платочком отерли, угощение похвалили, поклонились и сказали разом:

– Спрашивай.

Пани Мыльская собиралась мудреных старух ненароком на нужный разговор навести, а тут уж деваться было некуда – гости и вправду мудреные попались.

Пока пани Мыльская, морща лоб, собирала по закуткам слова, чтоб своего достоинства не уронить, а гостей не обидеть, старшая из них, Домна, сказала:

– Сами дождя мы тебе добыть, пани хорошая, не можем. Не по нашей силе. А посоветовать – посоветуем.

– Хорошо бы ребятам малым, душам безвинным, дождика покликать, – предложила Лукерья.

– Так пусть покличут, – согласилась пани Мыльская.

– Коли туча не придет, у Дейнеки дождик нужно будет поискать, на хуторке ее, – посоветовала Матрена. – Слух был, наши хохляцкие ведьмы дождик в Польшу продали, на семь лет. Утренней звезды-то не видать!

– Так вы уж не оставляйте меня, – попросила пани Мыльская, – помогите у Дейнеки поискать. Я ведь и не знаю, чего искать-то нужно.

– Звезду нужно искать, – объяснила Матрена. – Утреннюю звезду. Всем народом искать будем. Не беспокойся.

– Коли не сыщется, – тяжело вздохнула Домна, – придется в речке всех наших баб перекупать. Вели их на спину класть, а поддерживают пускай их веревками. Тонуть будут – вели на берег тащить, а которая не потонет, поплывет – та ведьма. Крапивой ее настегать нужно и лозой.

Поблагодарила пани Мыльская мудреных баб и взялась за дело.

2

По всему селу, на дороге в клубах пыли, на пыльных лужайках, в голых, как осенью, садах, кружились мальчики и девочки, распевая веселую песенку:

Дощику, дощику!
Зварю тобі борщику
В новенькому горщику.

Поставлю на дуба,
Лини як з луба —
Цебром, видром, дийнычкою
Над нашою пшеничкою.

Дети песенки играли, взрослые на небо поглядывали. Пыльным было небо и таким же сухим, как земля.

Поутру толпой двинулись на хутор старухи Дейнеки.

Дейнека родом была из молдавского города Сучава, привез ее из похода местный житель Кулябка. Был Кулябка истый запорожец. Два раза на галерах турецких по турецким морям, к скамейке цепью прикованный, хаживал. Первый раз четыре года, а другой раз аж семь лет. Оттого и Дейнека два раза всего и рожала. Первый раз двойней разрешилась, а во второй раз – тройней. Мужики Кулябке совет давали еще разок постараться, для интересу – будет ли четверня, но Кулябка, вместо того чтоб дома сидеть, детишек растить, на Соловки отправился по обещанию святым угодникам Зосиме и Савватию за спасение от морской пучины. А там – то ли что сказал не так, то ли шею свернул не тому, кому следовало, – согрешил, одним словом. И просидел в каменной Соловецкой тюрьме добрый десяток лет.

Когда отец вдруг вернулся с Соловков домой, были старшие ребята уж такими молодцами, что отцовское прозвище Кулябка начисто забылось для всего их семейства, а явилось новое – Дейнеки, что значит «казаки с дубьем», голытьба, одним словом.

Старый Кулябка на новое прозвище не обиделся, но всячески подкрепил его и ушел со старшими сыновьями за Пороги, а потом и младших, как подросли, с собой утянул...

Вот и некому было защитить старую Дейнеку от глупой толпы.

Кинулись мудроватые старухи по чуланам и закуткам шарить. И ведь нашарили! В подполье! Сыскали заплесневелый, воском залитый горшок.

– А ну, ведьма, говори, что здесь держишь? – коршуном кинулась на Дейнеку старуха Домна.

– Не помню, – ответила Дейнека.

– А ты вспомни! Не дождевую ли звезду на горе всем нам схоронила в горшке?

– Пустое мелешь! – Дейнека усмехнулась, она была старуха бесстрашная.

– Домна, ломай печать! Выпускай звезду! – закричали казачки.

Домна затычку выбила, а в горшке не звезда – зеленый гриб.

– Сильна вражина! Сильна! – ужаснулась Домна и погнала людей из хаты Дейнеки вон. – Коли она звезду в гриб обернула, так чего ей стоит нас всех в клушек превратить?.. Лучше уж ей обиды не причинять... Остается у нас последнее средство.

3

Решили идти на реку сразу, не откладывая на завтра. Слуги пани Мыльской обшарили все село и согнали к броду всех женщин, девушек и старух.

Пани Мыльская махнула слугам платочком.

Тихо на реке стало. Женщины сами входили в воду. Панские слуги опрокидывали их на спину, пересмеивались, хватали за груди, ловко заголяли, как бы невзначай, выставляя на обозрение стыд. На реке были и казаки, и дети, но – молчал народ. Молчал. Страшно стало пани Мыльской. А вдруг ни одна так и не поплывет? И представила, как на нее поглядит вся эта молчащая толпа, как двинется на нее. И ведь тогда придется тоже искупаться при всех. А если она-то и поплывет? Тут уж и слуги не помогут...

«Без меня должны были совершить действие!» – спохватилась пани Мыльская. Очередь на купание таяла. Затарахтела телега.

– Тпру! – Краснощекая, налитая, как бочонок, баба, по уличному прозвищу Кума, остановила лошадь, с любопытством глядя сверху на толпу односельчан. – Що це у вас за диво дивное?

Пошелкивая семечки, Кума не поленилась слезть с телеги, подошла на край дороги, а потом спустилась пониже к реке, где стояла пани Мыльская. Поклонилась пани и еще чуть ниже пошла, чтоб гнева нечаянного не заслужить.

– Иди-ка и ты сюда! – крикнули слуги, макавшие в воду женщин.

– Шо я, дурная, всему честному народу срам показывать? Сама я во всем новом – в гостях была, а исподнего на мне нетути, дни больно жаркие.

– Иди в воду, тебе говорят! – сказали Куме люди. – Ведьму ищем, которая дождь украла.

– Так какая же я ведьма?! Я Богу молюсь и в церковь хожу.

– Все мы Богу молимся и все в церковь ходим! – сказали ей мокрые женщины и сами загородили Куме пути назад и в стороны.

– Вон вы какие, соседуски мои! – взъярилась Кума, бросая наземь семечки. – Ну, так держитесь! Всех ваших мужиков уведу у вас, куриц мокрых!

И пошла скидывать с себя: села – сапожки стянула, расшитую сорочку сбросила, глазом не моргнувши, расстегнула поясок да и переступила белыми ножками через упавшую юбку. Пошла к воде неторопко, у воды лицом к людям повернулась, постояла, чтоб все, кто хотел, поглядели да чтоб запомнили.

– Экая рудая! Хвиль! – не сдержал восторга старичок Квач.

Подхватили слуги голую бабу да и запрокинули красавицу на спину. А она и поплыла.

Так пчела звенит-верещит над медовым грабителем, так пузырится кровь в жилах подлого убийцы.

– Хвиль! Хвыыиль! – тонюсенько подхватив слова старика Квача, завывла толпа и пошла, крадучись, к воде.

Пани Мыльская пистолет вытащила, но старухи Лукерья, Матрена, Домна опередили толпу.

– Убьете – три года дождя не будет! – крикнула Домна. – Крапивой ее стегать нужно и лозой. То крапивой, то лозой.

Распластали белую, как лебедь, на траве. У реки трава не сомлела от жары. Одна трава-муравушка мягкая и была добра к бедной. Настегивали в очередь, кто жалеючи, кто истово. Кто за смелость немислимую бабью стегал, кто дождь выколачивал. А кто помнил про человеческую душу, тот прочь пошел с того места.

Вдруг бегут! Ребятишки бегут!

– Туча!

Все замерли – и кинулась толпа с реки наверх, на дорогу.

Верно, туча! Черная, клубящаяся, из-за горизонта вываливает, как сатанинский дым из трубы.

– Бейте Куму! Бейте! – завопила Домна. – Не то пронесет тучу стороной!

Охотники нашлись, стегали до первых капель. Первые капли были тяжелые, крупные, с райское яблочко. Упали они на спину страдальцы, остужая боль.

И разверзлось небо. Кинулись люди по домам, но не для того, чтобы спрятаться. Принесли они на лужок тот несчастный горилки и браги, хлеба и сала, всякого маслица и настоев всяких. Захлопотали бабы над Кумой, закричали на мужиков:

– Да подите вы прочь, бесстыжие!

Раны Куме омыли, присыпали целебными травами. Одели ее, бедную. Дали горилки и сами выпили. Ревели все ревмя, а кто не ревел, за того дождь старался. Отвели Куму в дом ее под руки, постель постелили и целую неделю ходили за ней, как за дитем малым.

Всё за дождь благодарили, а Кума только улыбалась да головой качала изумленно.

Глава четвертая

1

Из канцелярии коронного гетмана Николая Потоцкого привезли пани Мыльской письмо от сына.

«Беда!» – заметалось материнское сердце.

О, материнское сердце! Хоть бы раз обманулось оно в недобром предчувствии. Не обманывается. Если стряслась беда, кровь матери слышит родную кровь и за тысячу верст, потому что вызывает к ней, к родной, к материнской, давшей жизнь.

Сын Павел писал из татарского плена: «Вот уже полгода, мама, живу я в Крыму. Когда у нас снег лежит, здесь тепло и все цветет. Замечаю, зимние дни у них длиннее наших. Горы здесь прекрасные, всякое растение растет и дает плоды. Но живу я, мама, как обычный невольник. Изведал боль от кнута, знаю голод и холод. Рабу и в теплой стране плохо. Самое худшее то, что хозяин мой, старый опытный волк, с давних пор лучший в округе вымогатель денег. Выкуп он берет только большой, малый отвергает решительно. Горе тому, за кого мало дают. Время от времени хозяин водит нас под Белую скалу. А с той скалы сбрасывают пленников, за которых мало дают выкупа, нам на устрашение. Ты сама знаешь, ничего я не боюсь, но уж больно глупо шмякнуться с этой Белой скалы и самой смертью своей посеять страх в душах польского рыцарства. Если можешь, выручай. Просит за меня хозяин мой Шагин-бей восемь тысяч серебром. Одну тысячу, думаю, уступит, но боюсь, что и семь тысяч для нас разорение. Бог даст, и так выручусь. А письмо пришлось написать, сам Шагин-бей заставил. Прости, мама. Написал я тебе за семь лет службы одно письмо, да и то вон какое веселое! Прости. Да поможет нам Бог».

Пани Мыльская не растеклась слезами и не закаменела. Принесла на стол ларец с деньгами и другой ларец, с украшениями. Опрокинула оба ларчика на скатерть. Поглядела.

Серебра было злотых на триста, перстней, сережек, запон – тоже на полтысячи, не больше. Пани Мыльская побрякушек не любила. Деньги же, которые у нее водились, она истратила зимой на куплю деревеньки, леса и крошечного хутора на реке, где затеяла построить мельницу. О Павле думала, когда покупала земли, души, леса. Об одном Павле. Рыцарь он храбрый, но расточительный. Оставь ему деньги – через год будет нищим. Имена – другое дело. Продать он их не догадается, а надоумят, так поленится. Да и не посмеет, может быть.

Пани Мыльская свернула скатерть, высыпала свои богатства в один ларец, кликнула слугу:

– Оседлайте мою кобылку и сами будьте готовы. Едем в Кохановку.

Отпустила слугу. Стояла посреди комнаты и не могла сообразить, что ей нужно сделать. И жаром охватило: помолиться забыла!

– Господи! Пощади!

Пани Мыльская опустила перед распятием на колени. Ни одной молитвы вспомнить не могла. Начинала, но слова тотчас путались, разбегались, а поймать их, удержать не было силы. «Господи! Господи!» – шептала пани Мыльская.

2

– Вам семь тысяч злотых? – переспросила пани Ирена и задумалась. – У меня есть семь тысяч. Ровно семь. Это все мое личное состояние... Но вы, кажется, противница посессии?

– Противница ли, не противница! Нужда, пани Ирена... За семь тысяч я бы отдала вам недавно приобретенный мною лес, хутор, на котором я строю мельницу, и часть земель...

– Пани Мыльская, у меня только семь тысяч. С матерью у нас отношения сложные, я должна заботиться о себе сама. Рассчитывать на чью-либо помощь мне не приходится...

– Я отдам мое село.

– Село и лес.

– Согласна, пани Ирена.

– Из глубокого к вам уважения я позволю вам жить в усадьбе.

– Благодарю, пани Ирена. Боюсь, что это будет для меня тяжелым испытанием, но в первые месяцы я воспользуюсь вашими милостями. Поживу в старом доме, пока не построю на хуторе временного гнезда... Семь тысяч? Года три уйдет на сбор денег... Да о чем я? Бог дал, Бог взял. Будем молиться и ждать его щедрот.

– Когда вы собираетесь оформить посессию? – спросила пани Ирена.

– Да хоть сегодня!

– Прекрасно, пани Мыльская. Правду сказать, я собираюсь в дорогу.

– Уж не на званые ли балы коронного гетмана?

– Вы угадали! – Лицо у пани Ирены было озабоченное, но открытое. – Жениха пора найти. Я от матушкиных забот отказалась. Матушка моя купцов обожает. Теперь вот самой приходится хлопотать.

– Чтобы одиноко на балах не было, можно вместе поехать. Мне нужно к гетману Потоцкому. Сын у меня в татарском плену.

– Так вам деньги на выкуп?

– На выкуп.

– Пани Мыльская, я тоже полька. Я возьму у вас половину леса. Да, да! Половину.

Синие глаза пани Ирены сияли патриотическим восторгом.

3

Дом великого коронного гетмана Николая Потоцкого был открыт для любого шляхтича. За стол сажали, не спрашивая, кто ты и зачем. Постель стелили, не любопытствуя, надолго ли. Иные жили месяцами. Да только не всякому дармовая кормежка была в радость. Приезжали к великому гетману за ясновельможными милостями, а Потоцкий хоть и видел просителя за столом у себя месяцами, но в канцелярию позвать не торопился.

Вторую неделю на самом краю необъятного стола веселился в свое удовольствие некий шляхтич из украинцев. Хохотал громко да так заразительно, что все вокруг него тряслись и ухали. А веселый шляхтич, здоровенный детина, откидывал могучие тела на спинку стула, и стул, жалобно пискнув, рассыпался. Все застолье, не удержавшись, покатывалось со смеху. Прыскали серьезные знатные мужи, сам гетман заливался вдруг смешком. Прибор от себя оттолкнет, глаза закатит да тьяв-тяв – тоненько, пронзительно. Все застолье заходило в новом приступе дурного, безудержного смеха, и великий гетман, тоже похохатывая, багровел от ярости: это ведь его смешок всех веселит.

Не выговаривая гостю, не опускаясь до того, чтобы узнать имя шляхтича, великий гетман напустил на него своего шута.

Все ждали веселой затеи, но шляхтич о чем-то поговорил с шутком, веселая дружина удалилась из-за стола и вернулась к третьей перемене блюд. Вернулись все серьезные. Сели, начали есть, как вдруг веселого шляхтича затрясло, отвалился он на спинку стула, тыча пальцем в лицо шута, стул пискнул и разъехался. Застолье, хоть и знало фокус, поперхнулось-таки, а разглядев ту штуку на лице шута, на которую указывал шляхтич, заготовало без всякого удержу. Этой штукой был – нос, вздувшийся и красный, как бурак.

– Отчего веселие? – спросил Потоцкий, резко поднявшись из-за стола.

«Седьмой стул поломал, мерзавец!» – подумал он о шляхтиче и еще более сдвинул брови, потому что уличил себя в мелочности.

– Ясновельможный пан! – встал и поклонился великому гетману шляхтич. – Мы играли в хвиль.

– В какой хвиль?

– В обыкновенный. На деньги, ваша ясновельможная милость, мы играем. Все давным-давно проиграли, теперь режемся в носы.

Ответ был столь искренен, а дело столь ничтожно, что великий гетман, взявшийся при всех распутать дело, почувствовал себя дураком.

Назавтра все повторилось: сидящие на конце стола после игры в хвиль потешались над неудачником и заодно над всем домом великого гетмана. Теперь Потоцкому это было ясно. Он знал о шляхтиче все, одного не запомнил – имени.

Шляхтич-украинец только прикидывался простаком. Десять лет тому назад совсем еще молодым казаком он был генеральным войсковым писарем – вторая после гетмана должность в казачьем войске. Теперь он всего лишь сотник, высокое место потерял за близость к зачинщикам казацких мятежей. Играет в хвиль, а у самого за плечами одна из лучших иезуитских коллегий. Польскую шляхту ненавидит, но в словах и делах осторожен. Всячески выказывает себя сторонником короля. Владислав IV любовь эту оценил и не кому-нибудь, а ему, сотнику, вручил свое знамя, когда затевал втайне от шляхты крестовый поход на Турцию. Ради общего украинского дела этот сотник действует в обход острых углов, но в нерешительности или трусости никогда уличен не был. Под Цецорой отчаянно пробивался на выручку к великому гетману Жолкевскому. Под Смоленском получил от короля саблю за храбрость. Однако бесшабашного риска не признает. Там же, под Цецорой, когда гетман был убит, а войско разбито, попал в плен. В плену времени даром не терял, выучил татарский язык и завел среди мурз и беев друзей. В ставку прибыл просить защиты. Чигиринский подстароста пан Данила Чаплинский задирает сотника, грозит выбить из родного хутора. Прошлой осенью увез у него снопы с хлебом, а весной потравил зеленыя, угнал лошадей. Пан Чаплинский, может быть, и мерзавец, но великий гетман за столом у себя – великий. Всякому видно, кто прав в этом споре, однако взять сторону украинца – создать прецедент. Все обиженные украинцы прибегут, стеною, просить справедливого суда над обидчиками. Помочь им – все равно что начать войну против своего же отборного шляхетского войска. Велик гетман, но не всемогущ.

Однако далее оставаться пану сотнику в ставке не годится. Скоро начинаются балы, придет на праздник и пан Чаплинский. Может произойти кровавая ссора. Шляхта из украинцев встанет на защиту сотника, поляки – на защиту подстаросты. Пустьяковое дело грозит обернуться большим раздором, а посему пана шутика следует принять в канцелярии и найти для него неотложное дело.

4

Очень небольшой кабинет великого коронного гетмана был копией королевского кабинета в Вавеле. Высокие окна за спиной, небольшой стол, драпировка стен темная, не позволяющая отвлекаться от государственных дел.

– Мне везет! – воскликнул Потоцкий, прочитав срочное донесение из Пирятина и Лохвицы. – Вот и сыскалось дело для чигиринского сотника. Позовите его.

Некий атаман Линчай перебил под Пирятином и Лохвицей арендаторов и управляющих именьями иудейского происхождения.

По всей Украине среди арендаторов и управляющих именьями процветал верный способ скорейшего обогащения. Вместе с землей, с людьми и с угожьями в аренду поступали пра-

вославные церкви. Чтобы окрестить ребенка, прежде попа поклониться нужно было арендатору, заплатить ему «дудка». Так называли украинцы этот налог. За венчание – поемщина, другой налог. За отпевание – третий. Не угодил если в чем-то арендатору – беда: дети растут нехристиами, девку замуж не отдашь, парня – не поженишь, помереть по-человечески и то не позволят.

Атаман Линчай совершил возмездие за горькие обиды православных на свой страх.

– Чигиринский сотник пан Хмельницкий, – доложил секретарь.

– Пусть войдет.

Великий коронный гетман посмотрел на сотника чуть дольше, чем на обычного просителя. Возмутитель спокойствия застолий стоял в почтительной позе. Нарочито скован, плечи опущены, чтоб не казаться чересчур большим. На лице покорность, прямо посмотреть духу не хватает.

– Я слушаю тебя, пан...

– ...Хмельницкий!

– Что ты просишь, пан Хмельницкий?

– Ваша милость, одной только защиты от не заслуженного мною гнева чигиринского подстаросты пана Чаплинского. Подстароста замыслил отнять у меня хутор Суботов – мой родной кров, приют моей семьи. Хутор дарован отцу его милостью коронным гетманом Станиславом Конецпольским. У меня есть грамота.

– Прошу тебя, пан... сотник, представь свою грамоту канцелярии староства. Я желаю прекращения распри. Надеюсь на твою выдержку и мудрость.

Хмельницкий поклонился, попятился к дверям.

– ...Пан... сотник! – остановил его Потоцкий. – Завтра поутру отправляйся в полк Барабаша. Полк выступает на усмирение атамана Линчая, который грабит и бесчинствует где-то возле Пирятина и Лохвицы. Полковнику Барабашу передай: меня известили, что атаман Линчай действует заодно с отрядом татарской конницы.

Хмельницкий еще раз поклонился и вышел.

Секретарю Потоцкий сказал:

– Год от года не легче! Казаки стакнулись с извечным своим врагом – с крымцами. Надо как-то помешать столь опасному союзу.

5

Хмельницкий проснулся от запаха гари. Открыл глаза, поглядел на потолок, на стены – комната, слава Богу, не пылала. Потянул в себя воздух и почувствовал, что запах дыма вкусный. Да такой вкусный, такой призывный – в животе заурчало.

«Поварята праздник готовят». Потянулся, закрыл глаза и провалился в последний досыпок.

Увидел подстаросту своего, пана Чаплинского. Чаплинский размахивал саблей, звал кого-то и указывал на него, на Хмельницкого. Лес за спиной пана подстаросты оказался войском. Земля загудела. Это шла в атаку крылатая польская конница.

«Умру, а не побегу», – сказал себе Хмельницкий и на всякий случай оглянулся. И увидел, что за ним такой же лес, как за паном Чаплинским. Стоило поглядеть на деревья, как все они обернулись казаками. Пан Чаплинский побледнел, попятился, спрятался за спины «крылатых».

«Устоят ли?» – подумал о своих Хмельницкий, рванул из ножен саблю и понял, что ошибся. За крылатую конницу он принял стадо быков, да и быки-то были все... жареные. Засмеялся над своим испугом, хотел позвать на пир казаков, поднялся на стремях, но стремя выскользнуло, сердце оборвалось, дернул ногой и проснулся.

– Ну и сон! Скорее надо убираться из этого ясновельможного логова.

Оделся, собрался, пошел на конюшню взять своего коня.

За ночь весь огромный двор превратился в кухню. Над раскаленными углями крутили на вертелах откормленных тельцов. Жир капал в огонь, взмывали языки пламени, курился и стлался щекочущий ноздри дым. Ружейный треск летел с огромных сковородок, на которых жарились птица, поросята. Одни повара начиняли пряностями и дичью сразу трех быков, другие начиняли дюжину свиней.

Хмельницкий поймал себя на том, что стоит посреди двора, да так стоит, словно по голове дубиной ударили. Опамятовался, чуть не бегом кинулся к конюшне, оседлал коня – и прочь, прочь от кухонного неистовства, как от преисподней.

А на дороге уже было шумно. Гроыхали рыдваны, кареты. Изнутри экипажи в парче и бархате, снаружи в атласе и коврах. Лошади выкрашены: красные, синие, золотые, серебряные.

«Вот он, дракон, сосущий из матери Украины и кровь, и мозг».

Подумал и оглянулся.

Над необъятным двором великого коронного гетмана стоял высокий дрожащий дым.

– Вот она, их церковь. Их правда. Их закон. – Вздрогнул, и вовремя.

Положив поперек седла копьё, мчался на Хмельницкого всадник. Хмельницкий успел дать шпоры, конь скакнул через дорожную канаву, споткнулся, но не упал, слава Богу.

– Жаловаться приезжал? – крикнул пан с копьём.

– А, это ты, пан Чаплинский? Я не жаловаться приезжал, ишу справедливого суда над тобой.

– Нашел ли?

– Было бы нынче царство Ягайлы, нашел бы!

– Чем же оно тебе приглянулось, царство Ягайлы?

– А вот когда королевский слуга Гневош оклеветал королеву, суд, уличив его во лжи, заставил лезть под стол клевету отбредивать. Клеветники в те добрые времена из-под столов не вылазили, по-собачьи брехали.

– Умен ты больно, пан сотник. Не сбавишь спеси, уж я найду способ отправить твою милость к королю Ягайле. Чтоб тосковал меньше.

Лошадей тронули одновременно, с норовом, только пыхнула пыль из-под копыт.

6

Палили пушки.

Земля ходила ходуном, но и этого было уже мало. Пусть и небо танцует.

Залп, еще залп! Дорогие гости, пожалуйста на танцы!

О, мазурка – душа поляка!

И проста и вычурна, угроза и самая нежная исповедь, бесшабашная дикость и утонченная грациозность.

Танцы начались с полонеза. Если мазурка душа, то полонез – плоть поляка. Это торжественный марш. Впереди сивоусые, покрытые шрамами герои в парах с первыми красавицами республики. За героями старосты, каштеляны, князья, а потом уж пылающее восторгом юное рыцарство. Молодость, жаждущая подвига, ведомая испытанными бойцами, – вот суть полонеза.

В первый день на балу сверкала ослепительная звезда пани Ирены Деревинской. Именно ее великий гетман Потоцкий выбрал себе в дамы на первый полонез. А потом уж от кавалеров отбою не было. Пуще других увивался около пани Ирены лихой танцор пан Чаплинский. И это ей очень нравилось. Чигиринский подстароста тем был хорош, что успел овдоветь. От одного этого немаловажного обстоятельства у пани Ирены прибыло сил, и она танцевала само-

забвенно. Нечаянные вздохи так и срывались с уст рыцарей. Их руки сами собой тянулись потрогать длинный ус, а глаза застилала мечта.

Но на другой день прикатил никем не замеченный рыдван пани Мыльской.

– Она ниспослана небом! – воскликнул молодой Стефан Потоцкий, и взоры юного рыцарства устремились на пани Хелену.

В нежно-розовом, как в облаке, с крошечным изумрудным крестиком на тоненькой золотой цепочке, в розовых атласных туфельках, она явилась, чтобы затеряться среди сверкания драгоценностей и ослепительной красоты, но все ее увидели, и все ее полюбили. Даже пани Деревинская нашла в себе силы признать, что пани Хелена прекрасна. Однако, окажись они за столом рядом, у пани Деревинской рука не дрогнула бы, подсыпая в бокал пани-соперницы яда.

Стефан Потоцкий кинулся приглашать пани Хелену, но оказалось: на полонез она ангажирована Дмитрием Вишневецким, а на мазурку – проворным паном Чаплинским.

Предательство, совершаемое на глазах у публики, иные принимают за безрассудство и даже за геройство.

Еще вчера пан Чаплинский, призывая на помощь небо, стоял на коленях перед пани Иреной, умоляя позволить ему поцеловать кончики пальцев, а уж сегодня он, не помня себя, отплясывал мазурку с новой, не коронованной, но истинной королевой бала.

Нет слов, пани Ирена двигалась живее и красота ее была замечательной, но, видно, слишком рано пришлось ей быть и ловцом, и ковалем своего счастья. В ней было чересчур много независимости, она сама была под стать любому рыцарю, а пани Хелена – всего лишь женщина, славное, доверчивое существо, с раскрытыми глазами ожидающее счастья.

– Гей! Гей! – вскрикивал пан Чаплинский, и черный его оселедец метался по бритой голове, как хвост сбесившегося коня.

– Гей! Гей! – Красный жупан пламенел на лету, дьявольские зеленые глаза отражали этот пламень, и пани Хелена знала: ей нет спасения.

Подуставшие музыканты, видя такой танец, очнулись, смычки рассыпали по зале искры. Танцевать стало горячо, музыка жгла ноги, и в величайшем восторге, не зная, как его излить иначе, пан Чаплинский пал на колено, выхватил пистолет и, как во времена седой и великолепной древности, отстрелил у пани Хелены с правой ножки розовый каблучок.

7

В кабинете великого гетмана музыки не было слышно.

– Я попросил этой встречи в столь неурочное для серьезной беседы время для того, – говорил князь Иеремия Вишневецкий, – чтобы подчеркнуть важность моих последних наблюдений...

Николай Потоцкий вежливо молчал.

– Если мы не предпримем каких-то чрезвычайных мер, возможен бунт. Наша неумная шляхта ведет себя так, словно Украина взята в посессию. Хозяйствование в большинстве случаев похоже на откровенный грабеж. И это еще не все. Мы постоянно обижаем шляхту из украинцев. Оттираем ее от должностей, всякий раз берем сторону поляков, а ведь войско вашей милости наполовину состоит из казачества.

– Из реестровых казаков.

– Из реестровых, но все-таки казаков. Из украинцев.

Великий гетман не позволил себе нахмуриться, но разговор этот раздражал его.

– Я слышал, князь Иеремия, о том, что вы отобрали у своих крестьян несколько возов оружия, но почему вы думаете, что оно было приготовлено по наши головы? Украинцы всегда ждут в гости татар.

– Великий гетман, на вашем месте я бы не отмахивался от столь серьезной улики против народа, который почитает нас за поработителей.

Николай Потоцкий резко встал, но заговорил мягко, без укора:

– Князь, должности в нашем королевстве даются пожизненно. Я не могу сложить с себя бремя великой ответственности, какую возложил на меня до конца дней моих король, вручив мне булаву великого гетмана... Скажу откровенно, меня несколько не заботит недовольство быдла, как не трогает лай собак, посаженных на цепь. Посмотрите!

Князь Иеремия поднялся со стула и подошел к окну. За окном, на зеленом плацу отрабатывала приемы боя крылатая конница. Два отряда развернулись, пошли друг на друга, и это были два железных ветра. Строй прошел через строй, но, даже зная это, князь Иеремия вздрогнул, ожидая громopodobного удара железа о железо.

– Вот она, та цепь, которую разорвать нельзя. Погибнуть – да, можно. Горячие головы всегда готовы умереть, но народ – нет! Весь народ никогда на войну не встанет, у него своя забота – выжить. Под кнутом и под самим топором – выжить. Ваше беспокойство, князь, похвально, но неосновательно. Сколько вам лет?

– Мне тридцать пять.

– Тридцать пять... Это же – молодость! Где вы, мои тридцать пять?! – Великий гетман взял князя Иеремию под руку. – Пойдемте к гостям. У меня есть чем их потешить. Сначала десерт, а потом – зрелище!

8

Многодневный пир подходил к концу, и теперь были поданы изысканные блюда: бобровые хвосты, омары, свиное вымя. Разносили старку пятидесятилетней выдержки, липец, дембняк, старое полынное вино.

Пока гости утоляли после бурных танцев жажду и голод, слуги на глазах возводили сказочные замки десерта. Посредине поставили сахарную копию дворца великого гетмана и огромный торт «Море».

Среди нежно-голубых волн, ухватившись за дельфина, плавали обнаженные наяды. Верхом на дельфине сидел Амур с натянутым луком, и стрела у него была из чистого золота.

Другой торт был в виде дуба с желудями, а среди его ветвей пряталась златовласая лесная дева.

Пирожные – только и успевай ахать: тут и пажи-негры, и всевозможные цветы, орлы, лебеди, казаки, лошадки. Вина на десерт подавали самые дорогие: македонский мускатель, морейскую малвазию, ривулу-розеркерт, пахнувший розами, и прекрасное токайское.

– Bravo! – кричали женщины.

Великий гетман раскланялся и сделал незаметный знак слуге. Тот подошел к торту «Море» и сразу удалился.

– Сейчас нам предстоит узнать самого счастливого человека на нашем пиру! – громко воскликнул Николай Потоцкий и показал на торт «Море».

Все увидели, что дельфин с наядами и с Амуром на спине плавает по кругу.

Один оборот, другой, третий.

Дзинь!

Золотая стрела, пущенная амуром, упала перед пани Хеленой.

– Виват! – грянули паны. – Виват!

Сильные руки подняли и водрузили на стол пани Хелену, блистающую молодостью, красотой, счастьем. Она подняла над головой золотую стрелу амуром, и паны крикнули в третий раз «Виват!» и осушили кубки.

После десерта гостей пригласили полюбоваться на состязание. Лучшие из жолнеров Потоцкого блеснули умением поражать цель холодным и огнестрельным оружием, замечательно точно исполнили все команды своих офицеров, и гости уже начали скучать, когда хитрый гетман объявил:

– А теперь пусть покажет нам свое непревзойденное искусство пан Гилевский.

Высокий шляхтич в домотканом синем жупане встал перед публикой. Он был грузен и медлителен.

– Чем же собирается нас удивить этот увалень? – шепнул пан Чаплинский в розовое ушко пани Хелены.

Двое слуг принесли и поставили перед паном Гилевским трехпудовую гирию. Пан Гилевский отрицательно покачал головой:

– Лучше мужика, который потолще.

– Пришлите мужика! – приказал Потоцкий.

Появился мужик. Здоровенный детина, на голову выше пана Гилевского.

– Годится, – сказал тот и вдруг ухватил мужика за поясницу, подкинул над собой, не дал упасть, закружил в воздухе двумя руками, потом правой рукой, левой и – стоп! Поймал, поставил на землю. Но оказалось, поставил на голову, сообразил, что мужик не стоит, перевернул его и раскланялся. Мужик, шатаясь, пошел прочь под смех развеселившихся гостей.

А на луг уже выкатил экипаж, запряженный шестеркой лошадей. Когда карета проезжала мимо пана Гилевского, он вдруг изогнулся, схватил руками за колеса и – чудо! Лошади били копытами, но ни с места. Пан Гилевский отпустил, и экипаж умчался.

– Я оставляю вас на одно мгновение! – шепнул пан Чаплинский пани Хелене.

А перед публикой уже готовился новый номер. Слуги торопливо врыли в землю дубовые столбы и сверху прикрепили дубовый брус. Получились ворота.

Пан Гилевский сел на лошадь, проехал по полю не торопясь, как бы для собственного удовольствия, потом дал шпоры и поскакал в ворота. В воротах он поднялся на стременах, схватился руками за брус и, сдавив лошадь ногами, поднял ее и подтянулся на руках, коснувшись подбородком бруса. Одежда на пане Гилевском затрещала, жупан лопнул по швам. Богатырь смутился, дал лошади коснуться ногами земли и ускакал на конюшню.

Публика разразилась овацией.

– Позвольте! – Это выскочил на резвой лошадке пан Чаплинский, в латах, с саблей на боку, с пистолетом. Он поставил лошадь перед публикой, разбежался и – перепрыгнул.

– Bravo! – кричала публика.

– Bravo! – кричала пани Хелена, посылая герою воздушный поцелуй.

9

Когда пани Мыльская, усадив пани Выговскую и пани Хелену в свой рыдван, перекрестилась на дорогу и стала уже ногой на ступеньку, к ней быстро подошла пани Ирена.

– Я прошу вас по приезде без всякого промедления освободить дом. У меня есть в нем нужда.

Пани Мыльская остолбенела, и, пока соображала, что ответить, отвечать было уже некому, пани Ирена упорхнула.

Пани Мыльская глянула в недра рыдвана и увидела, что пани Хелена у противоположного окна ведет какой-то быстрый и горячий разговор с паном Чаплинским.

Глава пятая

1

Против шести сотен атамана Линчая, из этих шести четыре – крымские татары, стояло три тысячи реестровых казаков черкасского полковника Барабаша.

Линчай собирался улизнуть глубокой лесистой балкой, но был обнаружен и окружен.

– Завтра они нам его выдадут! – сказал Барабаш Хмельницкому, они были с глазу на глаз, но у палатки тонкие стены.

Хмельницкий прикрыл рот ладонью и тихо, с нарочитой басовитостью, чтоб речь стала неразборчивой, спросил полковника:

– Нужна ли нам его голова? Кого порадует еще одна казнь храбрейшего из нас?

– Мы на службе короля. За эту службу нам дадены привилеи.

– Кому дадены, а у кого и отобраны, – возразил Богдан. – Пан Чаплинский отнимет у меня Суботов, и никто во всей Речи Посполитой пальцем не пошевелит, чтоб заступиться за казака. Барабаш, разве мы королю служим? Король нам с тобой вручил свое знамя и привилеи для двадцати тысяч. На кого он нас с тобой послал? На султана. А что сделала шляхта? Она повернула дело так, что привилеи в твоём сундуке, а знамя – в моем. И воюем мы не против нехристей, а против своего православного атамана, который вступился за наш бедный народ.

– Что ты от меня хочешь? – спросил Барабаш.

– Достаточно будет того, что мы прогоним Линчая.

– И ты думаешь, комиссар Шемберг не заподозрит неладное?

– А кто тебе сказал, что ты наверняка захватишь завтра Линчая?! У нас впятеро больше людей, но нам пришлось растянуть полк. Мы – цепь, а он – мечь. Он ударит всей силой по одному звену, и цепь лопнет. Я не хочу многих жертв, Барабаш. Я не хочу, чтоб казаки истребляли казаков, чтоб реестр воевал против своего же народа. На Линчая послали нас с тобой, а шляхта в это время объедается и обпивается во дворце Потоцкого.

– Хмель, я тоже не хочу большой крови. Я хочу взять одного Федора Линчая. Он пустой дейнека. Пусть ответит за свои грехи.

– Люди будут проклинать нас, Барабаш.

– Не узнаю тебя, Хмель. Ты всегда был осторожен и благоразумен. Пан Чаплинский задел тебя за живое, но правда на твоей стороне, и ты выиграешь дело.

– Я много думал и решил: пройду все круги судебных мытарств, дабы показать реестру, сколь мало мы значим для Речи Посполитой. А Линчаю надо дать уйти.

– Делай как знаешь, я ни мешать, ни помогать тебе не стану.

– Спасибо, Барабаш! – Хмельницкий весело сверкнул глазами, вылетел из палатки и обошел ее кругом: нет ли соглядатая?

2

Федор Линчай не поверил реестровым казакам, побоялся ловушки. Хмельницкий послал ночью к атаману человека, который указал место для беспрепятственного прохода.

Линчай решил ударить сразу в двух местах. Один удар был ложный, другой – всеми силами.

Когда на сотню Хмельницкого напала сотня татарской конницы, он воскликнул:

– Не поверил!

Барабаш не знал, какую хитрость уготовил его сотник, но, видя смелое нападение осажденных, послал на помощь Хмельницкому три сотни под командой Дачевского, доверенного человека комиссара Шемберга.

Вынужденный сражаться, Хмельницкий отрезал татарам путь назад, в балку, и они оказались в западне. Несколько всадников, надеясь на быстрые ноги скакунов, рискнули проскочить в брешу между казачьими отрядами.

Хмельницкий-сотник видел, что теперь в самый раз ударить на татар с тыла, смять их с двух сторон, уничтожить или пленить. Бой закончился бы в считанные минуты, и отряд успел бы нанести смертельный удар Линчаю, который начал прорыв в противоположной стороне балки.

Избавляя себя от забот командира, Хмельницкий дал шпоры коню и поскакал наперерез татарину, который пытался спастись бегством.

Это была славная скачка! Хмельницкий был грузен, но не умел послать коня в самый резвый бег, и у татарина нервы не выдержали. Он попытался вилять, а потом и вовсе развернул лошадку и кинулся на преследователя, решив умереть в бою.

Хмельницкий видел теперь: перед ним – мальчишка. Татарчонок выстрелил, но раньше времени. Бросил пистолет, замахал саблей, плохо видя, а может, и совсем не видя противника.

Хмельницкий одним ударом вышиб из рук его саблю и рукояткой вытолкнул из седла. Подскакавшим казакам крикнул:

– Отведите моего пленника в обоз! Конь – ваш.

Отряд Дачевского уже подошел и завязал бой с татарами. Хмельницкий глянул в сторону главного сражения. Отряд Линчая прорвался и уходил в степь.

– Дурень, но умница. Разве можно верить реестровому казаку, который служит за сладкую кость с чужого стола?

Поскакал к своей сотне. Ввязался в схватку. И вдруг искры так и брызнули из глаз: чья-то сабля рубанула по железной шапке. Сам тоже полоснул наотмашь. Обернулся – Дачевский.

– Прости, пан сотник! За татарина тебя принял. Вокруг собрались казаки, и Дачевский, бормоча извинения, убрался.

Богдан стянул с головы шапку. Потрогал пальцем рассеченный шишак.

– Не будь этой железной пуговицы, плакала бы моя голова.

Перед глазами плавали зеленые круги, подташнивало.

– Держись, Богдан! Держись!

Хмельницкий очнулся, понял, что валится из седла, ухватился за шею лошади, кто-то помог ему, поддержал.

– Ничего, отлежишься. Шишкой отделался. Взял бы проклятый лях пониже – голову бы снес.

«Свой», – подумал Хмельницкий, облегченно вздохнул и поплыл в забыты.

3

Отлеживался Богдан в своем доме, в Переяславе.

Дом этот был приданым жены Анны. Померла Анна полгода назад, оставила ему двух хлопчиков да двух дивчинок: Тимофея, Юрко, Степаниду да Екатерину.

Глядя в угол, на икону Богоматери, Богдан вел беседы с душой Анны.

– Ты прости уж меня! – винулся он перед женой. – Сама знаешь, не забыл я тебя. И до последнего дня своего – не забуду. Попроси за нас у Господа, чтоб отпустил грехи: мне – по старости, Матрене – по молодости. Сама знаешь, Матрена с семнадцати лет вдовица. Настродалась. А мне, старому, женских утех рыскать недосуг. Так все и получилось. Житейское дело.

Говорил и мрачнел: не лгал он Анне, но и всю правду тоже сил не хватало выложить. Полюбил он Матрену. Так прилип, что Тимошу в глаза глядеть стыдно. Хлопец взрослый, все понимает.

Горько было Богдану: от живого человека мысли утаить – дело нехитрое, от духа ничего не утаишь. Да и не стал бы он утаивать ничего: жалел Анну, не хотел больно сделать ей. Вторую любить, и тоже без памяти, – это ведь на предательство похоже.

Лечил Богдана старик-запорожец, по прозвищу Барвинок. Сколько старик прожил лет, никто не знал, а сам он забыл. Глубокие переяславские деды стариком его помнили. А Барвинок возраста своего не чуял. Болеть он никогда не болел, а только усыхал помаленьку. Был он похож на корешок ходячий. Идет, с землей сливается, а глаза – словно барвинки, синеют, сияют. Как бы ни было скверно человеку, а встретит такие глаза – улыбнется, хоть сквозь слезы, а улыбнется.

– Чем ты меня травишь, дед? – спрашивал Богдан, принимая питье.

– По утрам отвар болиголова тебе даю, – отвечал дед Барвинок. – А на ночь растрил-траву с плакуном да чертополохом – от испуга.

– От какого такого испуга? На труса я, что ли, похож?

– Ты такой удалец, что и сам еще не знаешь, сколько в тебе удали неистраченной живо! – улыбнулся дед Барвинок. – Ум храбрится, да плоть страшится. Плоть я твою врачую. Душа у тебя как пламень, хорошая душа, здоровая. Если бы не твой ум, как знать, дожил бы ты или нет до седых волос с таким огнем в сердце. Ум у тебя сильнее души.

– А скажи, дед, – глаза у Богдана блестели пронзительно, – скажи ты мне! Бывает, жжет мне сердце. Так жжет, что мечусь. Одно спасение – на коня и по степи гонять... Ничего себе объяснить не могу, только все же знаю: не ту я жизнь прожил, не свою, чужую, маленькую.

– Отчего ж прожил? Ты ведь жив-здоров, один Бог знает, сколько тебе жить осталось и что на роду тебе написано.

– Дедок! Ну какая у меня может быть жизнь впереди? Мне ведь не двадцать и даже не сорок. Мне – пятьдесят два года. Всей моей славы – сотник. Да еще по миру грозятся пустить.

Богдан заворочался на постели, сел, стрельнул глазами на деда Барвинка, но тот укладывать не стал, глядел на казака с улыбкой – Богдан матушку вспомнил. Совсем далекое. Купает его мама в корыте, смеется, зубами блестит, а ему тоже очень хорошо.

– Ты не колдун? – спросил Богдан. Дед Барвинок засмеялся:

– Я – запорожец.

– Ладно. Не в том дело, – махнул рукой Богдан. – В стычке, где меня свои же по голове угостили, погнался я за татарчонком, за пленником моим. Правду сказать, из хитрости погнался. Так нужно было. А вот когда скакал, екнуло у меня сердце... По-особому екнуло, словно бы я цветок папоротника на Ивана Купалу ловил. Поймал татарчонка, и ведь не затрясло меня от радости, но успокоился я тогда очень. Подумалось: все теперь будет как надо. Тут-то меня и шарахнули по башке!

Засмеялся. Боль гвоздем прошибла мозги, и Богдан, морщась, тихонько опустил на подушки.

– Спать тебе, казак, нужно больше, – сказал дед Барвинок. – Спи.

Осенил рукой, и Богдану опять матушка привиделась: стоит, занавеску рукой отслоня, крестит его на сон грядущий.

4

Татарчонок Иса был сыном перекопского мурзы Тугай-бея. Как только Богдану стало лучше, он перевел пленника в горницу.

– Ты не пленник мой, а гость, – объяснил он татарчонку. – Я твоего отца знаю. Он мне друг. Держали тебя взаперти потому, что я сильно болел.

Богдан говорил с Исой по-татарски, тот слушал, но видно было, что не верит ни одному слову.

– Ты очень храбрый джигит, – не отступал Богдан. – На коне сидишь, как никто из наших сидеть не умеет, а вот удар саблей у тебя неверно поставлен. Смотри, как нужно рубить.

Хмельницкий кликнул казака. Взял у него две сабли. Одну передал Исе.

– Пошли во двор, поучу тебя.

Учил татарчонка сабельному бою на совесть, словно важнее дела не было. Ел с Исой с одного стола, спал в одной комнате, дверей не запирая.

– Какой выкуп за меня хочешь? – спросил его в упор Иса.

– Выкуп с гостя? – удивился Богдан.

– А когда домойпустишь?

– Одного тебя отпустить никак не могу, – развел руками сотник. – Тебя и наши могут обидеть, и поляки... Вот поедут купцы в Крым или попы какие, тогда с Богом. А пока в Субботе поживешь. У меня два сына. Младший мал, а Тимош, старший, – товарищем будет тебе.

– А когда в Субботов поедем?

– Завтра и поедем. Шишки зализали, теперь не стыдно людям на глаза показаться.

– А на чем я поеду? – не отставал Иса.

– Лошадь твою казаки увели! – сокрушенно вздохнул Богдан. – Коня купим.

– Когда?

– Сегодня.

5

Затянул кумачовый кушак на осиной талии – ни вдохнуть, ни выдохнуть, складки с расшитой свитки все за спину убрал, шапчонку заломил и, придерживая правой рукой, пустился впрыскадку, подметая горницу синими, как ночь, шароварами.

Матрена заглянула в горницу да и покатила со смеху. Тимош тотчас перестал плясать. Как сова, воззрился на смеющуюся женщину. А та еще пуще расхохоталась.

Тимош хотел было плюнуть под ноги, да вспомнил – мама за их плевки у Бога прощения просила. Сорвался с места, выскочил из дому.

Матрена-сатана в дверях не посторонилась, высокой груди жаркой от его груди не отвернула: уши у хлопца так и пыхнули, будто в порох кто огниво сунул. Во всем Чигирине не было ни среди замужних, ни среди дивчин такой, которая не увяла бы перед Матреной.

Была Матрена матери Тимоша близкой родственницей. Муж у нее на колу в Истамбуле жизнь кончил. На красоту Матренину всякий мужик облизывался, а новый подстароста чигиринский пан Чаплинский, так тот кружить вокруг да около не стал. Увидел кралю на улице, в ту же ночь и вломился к ней в дом. Только Матрена не стала дожидаться, когда храбрый поляк двери с петель сорвет. Через трубу удрала.

Анна, жена Хмельницкого, в те поры уже болела, и Матрена всему дому пришлась по сердцу. И Тимошу, конечно, тоже. Ухаживала она за матерью, как за малым дитем, но болезнь оказалась сильнее человеческой доброты.

После похорон отец первую неделю будто оглох и ослеп, никого не видел, не слышал, во вторую неделю был послушен, как ребенок, всем и во всем, а на третью вдруг ожил, да еще как ожил! И Матрена расцвела.

Обиделся Тимош на отца. Степанида, старшая сестра, тоже обиделась, а меньшие, Юрко, Катерина, как кутята. Им бы лишь теплый бочок. Подкатились к Матрене, приняли ее ласку.

Со свадьбой, однако, отец не торопился, не хотел людей дразнить. Минет год, тогда другое дело, никто слова не скажет.

Чужим стал Тимошу дом. Захотелось на волю, но из гнезда рано сниматься. Еще и в парубках не хаживал. Вот и решился он, как вернется отец из похода, испросить у него соизволения – в парубках ходить. Ростом Тимош удался, силы ему было не занимать, хлопец он в семье старший, одна помеха – годы молодые. Пятнадцати лет еще не стукнуло. Скажет отец: «Обожди годок», и ничего не поделаешь, придется ждать. Парубок – вольный человек, живет своим умом, как только хочется да может. Ему и колядовать позволено, а после Пасхи ходить в клуни или на гумна к дивчинам спать. Спать это чистое. Коли дивчина ласку не превозможет, так ей же и беда. Все от нее отвернутся, искуситель первым. Закон тот суров и свят. Зато целоваться не возбраняется. Ой, не зря поют:

Та на вечерницах
Так нацилувався,
Так намиливався,
Як у садку соловей
Тай нащебетався.

Рукой опершись на старую косматенькую вербу, Тимош глядел на реку, и мыслей в голове его было не много. «Поймать бы сома с лошадь, – думал хлопец, – уж тогда бы отец думать не стал – отпустить в парубки сына или не отпустить».

Верба ловила залетные вечерние ветерки, заигрывала с ними, и длинные кудлатые ветки, покачиваясь, щекотали Тимошу то щеку, то шею, а он, даже не отмахнувшись, упрямо думал о своем: «Али пристрелить бы татарского лазутчика. Сесть в камышах с ружьем и ждать. Уж тут бы отец слова поперечного не сказал».

Тимошу почудилось вдруг – скачут. Вышел на дорогу – отец и еще кто-то с ним. Богдан издали помахал сыну, а подъехав, легко соскочил на землю.

– Здравствуй, Тимош! – обнял. – Все живы, здоровы?

– Живы! – Тимош разглядывал спутника отца: татарчонок, что ли?

– Товарища тебе нашел! – сказал отец. – Иди сюда, Иса! Познакомься. Тимош – мой большак, моя надежда, а это Иса, сын Тугай-бея. В седле, как пан Ветер, сидит. Отмахни ему голову – не потеряет стремян.

– Здравствуй, – сказал Тимош, не очень радуясь новому знакомству.

Иса тоже гордый, отвернулся.

– Э-э! – догадался Богдан, оглядывая нарядную одежду на сыне. – Ты, я гляжу, парубковать собрался!

Глаза у Тимоша вытаращились, и опять он стал похож на совенка, взъерошил перышки.

– С Богом, сынку! Исе с дороги отдохнуть нужно. Весь день мы с ним в пути, обоз бросили – и давай скакать. Мы отдохнем, а ты погуляй.

Рябое, тяжелое лицо Тимоша осветилось радостью и похорошело.

– Так я тогда пойду? – спросил он отца, не веря ушам своим.

– Ступай, сынку! Гуляй! Гуляй, покуда есть еще время для песен.

Хлопец рванулся было в сторону Чигирина – семь верст топать, но отец окликнул его:

– Тимош, держи полтину. В парубки в долг вступать не годится.

– Спасибо, отец!

У Тимоша деньжата были припасены, но щедрый дар отца позволит дышать свободно, гроши в уме не подсчитывать.

6

«Коронувание» Тимоша в парубки устроили в хате сироты Карыха. У Карыха – шаром покати, все, что можно было отнести, отнес он в шинок, и не потому, что вино любил, а потому, что больше себя любил он товарищей своих.

Платя за любовь и бескорыстие, парубки называли его «березой» и во всем слушались: «береза» – старшина парубков.

Выставил Тимош на угощение два ведра горилки да зажаренную на вертеле свинью.

Карых велел парубкам перекрестить лбы, надел на палец медный перстенок да и щелкнул вступающего в братство по лбу, приговаривая:

– Чтоб не забывал о Боге, отцов своих и дедов, чтоб на прелести польской веры не соблазняка, а за свою стоял насмерть. Аминь!

Сели на пол по-турецки. Пустили чашу по кругу. Сперва помянули славных казаков, сложивших головы, кому где пришлось: в Истамбуле, Бахчисарае, в Варшаве, на Поле Диком...

– А теперь, братья, выпьем, чтоб нам всем жилось не хуже, чем батькам нашим, чтоб столько же досталось шишек и шрамов. Да не оскудеет земля украинская храбрыми хлопцами!

Так сказал «береза» Карых и кинул свою чашку через голову.

– А споемте-ка, братья, песню нашему товарищу!

Вскочили парубки на ноги, подхватили Тимоша на руки, подняли под самый потолок да и запели. Славно запели, не загорланили по-дурному, но во всем Чигирине слышно было, как парубки нового товарища величают. Старые казаки из хат выбирались, чтоб слышать лучше, а послушав, смахивали ненароком набежавшую слезу: молодость, молодость, птица залетная, синяя птица, с жаркими перьями.

Посияли дивки лен,
Що за диво, дивки, лен! —

пели парубки в хате «березы» Карыха.

Посияли, спололи,
Що за диво, спололи!
А споловши, вырвали,
Що за диво, вырвали!

– Карых-то! Карых-то заливається! – вздыхали молодичицы, потому что Карых был для них хуже дьявола: красив, голосист, смел, но уж такая голь перекатная, что никакой любви не хватало за такого замуж наостриться. А впрочем, судьба сама знает. Не в бедности дело, дело в том, что, может, и родилась уже, да еще не вытянулась, не выкруглилась та дивчина, которой для счастья одних глаз Карыха довольно будет.

В Дунай-ричку кидали,
Що за диво, кидали!
Дунай ричка невеличка,
Перевозец небольшой,
Що за диво, небольшой!
И шли дивки дорогою,
Що за диво, дорогою!
Дорогою бижить конь,

На конику молодец,
Що за диво, молодец,
Наш Тимош удалец!

Когда снова сели выпить да закусить, был Тимош парубкам ровня.

– А не поиграть ли нам в игры? – предложил Карых, чтобы отвлечь парубков от питья.

Решили играть в таран. Вышли на улицу. Уже было темно, но играть так играть.

– Становись, Тимош, первым.

Тимош встал, как для игры в чехарду: согнулся, руки упер в колени, ногами по земле повозил, устраиваясь как можно прочнее. Двое парубков подхватили третьего, раскачали да и вlepили Тимошу в зад своим тараном. Тимош улетел кубарем. Больно, да не обидно, хоть парубки и покатываются со смеху. Теперь его черед над другим смеяться. Следующим встал сам Карых и тоже улетел, не хуже Тимоша.

Но вот дошла очередь до Петро Загорульки. Ростом Петро не удался. Не то что парубков догнать, он и дивчинам иным до плеча, но и шире его во всем Чигирине не только казака – бабы не было.

Долбанули Загорульку раз – устоял. Долбанули в другой раз – устоял. В третий раз долбанули – не шелохнулся. А больше охотников голову о Загорулькин зад расшибать не сыскалось.

Спели парубки славу маленькому Петро и пошли с песнею до дивчин.

Дивчины их ждали на краю Чигирина у хаты Гали Черешни. Ждали, да заждались.

Встретили они парубков песней, чтоб за живое задеть.

Ой, диво дивное, диво!
Пошли дивоньки на жниво.
Жнут дивоньки жито пшеницю,
А парубоньки куколь, митлицы.
Чого дивоньки красныя?
Бо йдять пироги мясные,
Маслом поливають,
Перцем посыпають.
А парубоньки блидныи!
Бо йдять пироги пистныи,
Щолоком поливають
И попелом посыпають.

Парубки, однако ж, не сплеховали. Мигнул Карых своим да и залился по-соловьиному:

Дивецкая краса,
Як литняя роса.
В меду ся купала,
В меду выгавала.
На парубочках краса,
Як зимняя роса,
В смоли ся купала,
В дегти выгавала.

– Ой, мудрецы! Ой, мудрецы! – всплеснула руками Галя Черешня, но дивчинам понравилось, что парубки носов не задирают, чуют за собой вину.

– Припоздали мы, – сказал «береза», – не того ради, чтоб досадить нашим панночкам. Пришли мы к вам не одни, а с новым товарищем.

Парубки вытолкнули вперед Тимоша:

– Принимаете?

– А что же его не принять: не хромой, не горбатый. – Галя сняла с головы своей венки из цветов и пошла к Тимошу, но тот, растолкав хлопцев, спрятался за их спинами. – Да он дикий совсем! – Галя Черешня рассмеялась.

– Чем норовистой конь, тем больше охоты узду на него набросить! – ответил Карых.

– Еще чего недоставало! – крикнула молоденькая, но отчаянная Ганка, первую свою весну гулявшая с дивчинами. – Не цветы за пчелками гоняют, а пчелки ищут цветы медовые.

– Хорошо, дивонька, что про мед вспомнила! – вскричал Карых. – Не сыграть ли нам в «калету»?

– До Андреева дня далеко еще! – удивилась Галя Черешня.

– То до зимнего Андрея далеко, а летний Андрей один миновал, а до другого уже и рукой подать.

– Сыграем! Сыграем! – согласились дружно панночки.

– Но уж коли нынче не Андреев день, то и в игре пусть будет новина, – поставила условие Галя Черешня.

– А какая же новина? – спросили парубки.

– «Писарь» будет не ваш, а наш.

– Согласны! – решил за парубков «береза», и все гурьбой повалили в старую хату Гали Черешни.

Затопили быстро печь, замесили тесто, чтоб «калету» испечь. Пока колоб готовился, песни пели, страшные истории рассказывали.

Галя Черешня была великой охотницей и других напугать, и самой от своих же рассказов трястись.

– Слышала я, в Кохановке дело было, – начинала Галя Черешня очередную историю и уже заранее тарасила хорошенькие свои глазки. – Разбаловались двое парубков. Уж чего-чего они ни выкомаривали: корчаги у соседей поменяли, на хате колдуньи сажей кошку намалевали, забрались на крышу гордячке-дивчине, выли в трубу, будто домовые. А потом один и говорит: «Пошли перекинемся у ракиты через голову. Старухи болтают, что этак можно в волков обернуться. Все село напугаем, а сами потешимся на славу». Пошли они за околицу, у ракитова куста перекинулись и стали волками. Побежали дивчин гонять. Дивчины на вечерницах были. Увидали, что два волка в окно заглядывают, всполошились, заплакали, двери на засов. Натешились волки-парубки, через голову перекинулись. Один человеком обернулся, а другой – нет. Уж катался он катался по земле и так и сяк – не вышло.

– Страсть какая! – охнула Ганка-вострушка. – Я прошлым летом на пасеку к деду моему ходила. Иду назад, а за мной волк! До самой околицы провожал. Думала – конец. Иду, шарю по земле глазами – так даже прутика не попало. Может, это тот самый хлопец был?

– Нет, не тот, – сказала Галя. – Тот до Рождества по лесу рыскал, а на Рождество прибежал к родной хате. Заглянул в окошко – на отца с матерью поглядеть – да и завыл с горя. В хате светло, на столе еда вкусная, разговляются. Увидел отец волка, схватил ухват, выскочил из хаты да и давай волка охаживать. А тот не убегает. Человеческим голосом взмолился: «Не бей меня, батюшка. Я сынок твой». Поверили волку. Как было не поверить, когда он по-человечески говорит. Привели в хату, посадили за стол. Потянулся волк мордой в чашку с варениками, а сестренка как вскочит, как опрокинет лавку, волк через голову перекинулся да и стал опять человеком.

– А ну тебя, Галка! – зашумели дивчины. – Такого всегда расскажешь, домой страшно идти.

– Парубки проводят! – отрезала Галя.

– А как быть той, у кого нет парубка? – пискнула Ганка.

– Глазами меньше хлопай! – посоветовали дивчины. – Прискакал новый козлик в огород, ты время даром не теряй, а веревочки плети!

Тимош побагровел, но в полумраке краску не видно, а от света печи даже стены розовы.

– А что, товарищ ваш новый, случаем, не немой? – спросила Галя Карыха. – Али, может, пуглив? Наслушался наших сказок да и онемел.

– Не задирай, Галя, парубка! – ответил Карых. – Расскажи, Тимош, дивонькам чего-нибудь такое, чтоб аж пискнули.

Деваться было некуда, и пропавшим голосом Тимош отрывисто просипел:

– Пан Чаплинский, подстароста наш, на охоту ездил. Зайца живьем поймал. А поймавши, распял его на кресте, у часовни, что у Светлой Криницы стоит.

Тихо стало в горнице.

– Чего о поляках поминать? Нам и на дню хватает ярма! – сказала какая-то дивчина.

– А то и вспомнил, что я бы пана подстаросту за ту криницу, за тот крест саблей, как полено бы, расхватил! – крикнул Тимош.

– Чего ты! – шепнула, приткнувшись к парубку, очутившаяся рядом Ганка. – Чего дрожишь-то?

– Хотите о кринице расскажу? – встрепенулась нарочито весело Галя Черешня, но никто не отозвался на деланное ее веселие.

Петро Загорулько тяжелым баском подмял и приглушил начатую было сказку про криницу:

– Поп наш к пану Чаплинскому в день его ангела с поздравлениями явился. Просфиру принес, а пан Чаплинский слуге своему говорит: «Возьми у попа просфиру!» Слуга просфиру взял, покрутил-покрутил, да и кинул под стол собаке, чтоб панов повеселить.

– Парубки, оставьте ваши разговоры! Не ровен час, донесет кто! – сердито сказала Галя Черешня.

– Кто же это донесет, хотел бы я знать?! – взвился Карых, прохаживаясь по горнице. – Разве есть среди парубков моих филин-заушник? А может, среди дивчин, среди красавиц наших черная сорока завелась?

– Ах, зачем же вы так? – расплакалась вдруг Галя. – Все мы хорошие, только жить страшно. Даже в доме своем страшно.

На том бы и кончилась вечерница, но выручила «калета», испеклась. Обмазали ее медом, повесили к потолку и начали играть. Сначала с натугой, не забывая о недавнем разговоре, а потом забылось худое. «Писарем» стала Ганка. Она сидела под «калетой» и помешивала кистью из мочала в ведерке с разведенной сажей. Парубки и дивчины по очереди садились верхом на ухват, подъезжали к «калете» и пытались отгрызть кусочек. Круглая «калета», густо намазанная медом, крутилась, ухватить ее на зуб было непросто: то по щеке медом мазнет, то по носу, как тут не засмеяться, а засмеешься – писарь тебя и разрисует сажей.

Дошла очередь до Тимоша. Сел он на ухват, подошел к «калете», прицелился исподлобья, запрокинул голову да и куснул «калету» белыми крупными зубами. Точно куснул. Зубы пробили сладкую корочку. Тимош выждал, пока «калета» успокоится, и резко дернул головой, отгрызая кусок. Веревочка оборвалась, «калета» упала на пол, покатилась.

– Петухи уже кричали! – сказала Галя. – Спать пора.

– Приходи ко мне! – Горячие влажные губы коснулись уха Тимоша.

Глянул: Ганка.

Покружив по Чигирину, Тимош пробрался к поманившей его дивчине на сеновал.

– Ложись! – шепнула Ганка и сама подвинулась поближе.

Тело ее пахло земляникой, но было горячее, и Тимош чуть отодвинулся.

– Ты чего? – спросила она.

– Ничего.

Они лежали молча, слушали, как перешептываются между собой потревоженные сухие травинки.

– Чего же ты не целуешь меня? – удивленно спросила Ганка.

Тимош приподнялся на локтях, поцеловал дивчину. Губы у нее тоже пахли земляникой.

– Сладко тебе было? – спросила Ганка.

– Сладко, – ответил Тимош. – Твои губы земляникой пахнут.

– Ты будешь ко мне спать ходить? – спросила Ганка.

– Буду.

– Значит, ты и есть мой парубок, мой жених?

Тимош не ответил. Было слышно, как он терзает зубами травинку.

– Что же ты молчишь?

– Нет, – сказал Тимош. – Я не твой жених. Я себе принцессу добуду.

– Откуда же ты ее возьмешь? – удивилась Ганка.

– Возьму.

Сказал и повернулся на бок.

– Уходи! – прошептала обиженная Ганка. – Нечего тебе с простыми дивчинами знаться.

Пошел!

– Ну и пойду! – Тимош спрыгнул с сеновала.

– Сам рябой, как сыр, а туда же! Принцессу ему подавай! – крикнула в сердцах Ганка.

Тимош отворил дверь, за дверью стояло розовое утро.

– Вот увидишь, – сказал Тимош. – Я себе добуду принцессу.

И не улыбнулся. Не попрощался.

Ушел.

Вспугивая эхо, в Суботове грохнул выстрел.

7

Пан Чаплинский был человеком далеко уже не первой молодости. Не знатен и не богат, он не мог получить выгодных должностей, и вся его молодость прошла в таких местах, где, хоть тресни – обобрать было некого. На свое назначение в окраинный городишко Чигирин пан Чаплинский смотрел как на счастливый поворот в судьбе.

В первый же день по приезде в староство он позвал к себе Захарию Сабиленку, который арендовал Чигирин у Конецпольского, а потому и был его истинным хозяином, и спросил без всякого словесного витийства:

– Ты – владелец города, скажи мне, кто здесь самый богатый человек?

– Сотник пан Хмельницкий, – тотчас ответил Захария.

Пан Чаплинский взъерошил усы, чтоб ободрить себя, и сказал Сабиленке заготовленную речь.

– Я почитаю тебя за человека разумного и сметливого. Пан Конецпольский – староста, но он далеко и в Чигирине бывает редко, я только подстароста, но я буду жить здесь постоянно.

– Сколько вы хотите иметь? – спросил Захария Сабиленка, улыбнувшись с такой непосредственностью и с таким пониманием, словно открыл кошелек с золотыми.

– Мне нужно выдать замуж старшую дочь. Ей – шестнадцать, а я вдовец и воин. Я не силен в бабских причудах.

– Рекомендую ротмистра Комаровского. Молод, богат, отважен.

– Но? – нахмурился пан Чаплинский.

– О приданом не беспокойтесь! Вы – рыцарь, и пусть житейское не отнимает вашего драгоценного времени, которое все принадлежит королю и Речи Посполитой. Моя жена сделает все, что нужно и как нужно, а я избавлю вас от хлопот по устройству свадьбы.

– Господи! Это слово друга! – искренне обрадовался пан Чаплинский.

Кошелек Захарии Сабиленки открылся перед чигиринским подстаростой в первый, но не в последний раз.

Жизнь пана Чаплинского пошла в гору: дочь благополучно вышла замуж за ротмистра Комаровского, осталось собственную судьбу устроить. Искал пан себе богатую, а нашел красивую. Тут без Захарии Сабиленки никак нельзя было обойтись.

– Вашу свадьбу я беру на себя, – по-отечески сказал Сабиленка, но призадумался и посмотрел пану Чаплинскому в глаза. – Вам, видимо, и впрямь следует обратить внимание на то, как хозяйствует пан Хмельницкий. Тут есть чему поучиться. Хозяйство у сотника устроено разумно, дает хорошие доходы. А теперь послушайте особенно внимательно: имение это подарено не роду Хмельницких, но лично пану Михаилу, отцу Богдана... Весьма возможно, что у самого Богдана нет никаких подтверждающих грамот.

– Хмельницкий тебя обижает? – спросил напрямик пан Чаплинский.

– Упаси господи! Но казаки за Хмельницким как за стеной. Пан сотник окончил иезуитскую коллегию. Он учен, знает законы.

– Стало быть, он тебе мешает? – напирал пан Чаплинский.

– На земле места много, – уклончиво ответил Захария Сабиленка. – Я никому не желаю зла. Я просто знакомлю вашу милость с местными делами, нравами и обычаями.

– Хорошо! Я избавлю мир от пана Хмельницкого.

В ту же ночь пан Чаплинский пригласил своих друзей на мальчишник.

Краковяк по рождению, пан Чаплинский был человеком набожным, потому и мальчишник его начался богоугодным делом. В обычае у краковяков ставить вдоль дорог кресты перед важным поворотом в жизни, а пан Чаплинский собирался жениться. Памятуя о грехах, крест он соорудил своими руками чуть ли не из целого дуба. Везли крест на двух лошадях. Врыли за версту от Чигирина на видном, высоком месте.

Постоял пан Чаплинский у своего креста, осенил лоб знамением Христовым, а потом сиганул с земли в седло, сверкнув сатанинскими глазами:

– Гееей! – и только пыль закружилась за вольной братией.

Пили, скинув жупаны, в дружбе мужской клялись навечно, а потом взгрустнул пан Чаплинский, достал с груди ладанку, подарок пани Хелены, и, держа ее в ладонях, как птенца, дивно спел старую песню:

Сосчитай, дивчина, звездочки на небе.
Столько я шагов сделал к тебе.
Столько же раз я вздохнул о тебе.
И если бы я сделал это во имя Божие,
То давно был бы на небе,
Я уже почти и был там.
Но как увидал тебя,
Соскочил оттуда к тебе.

Поцеловал ладанку пан Чаплинский, кинул ее за пазуху, и снова в глазах его полыхнули красные языки адского огня.

– Други! Невеста моя – царица мира! Клянусь! Не в силах я противиться сладким чарам супружеской жизни, сам надеваю на себя оковы, но нынче я еще человек вольный. И не будь я пан Чаплинский, чтоб не побаловать себя напоследок. Старый черт Хмельницкий держит под

замком столь прелестную кобылку, которую не увести у него и не объездить – значит принять на душу тяжкий грех! Кто поможет вашему товарищу в святом этом деле?

– Все как один! – гаркнул пан Комаровский, и все шляхтичи в который раз опрокинули кубки за дружбу.

– Как ту кобылку величают? – спросил у пана Чаплинского друг его ближний пан Дачевский.

– У свиней и имена свинские! Королеве дали имя – Матрена!

– Отнять Матрену!

– Перекрестить!

– Пусть будет Елена!

Так кричали перепившиеся друзья, и пан Чаплинский слушал их с пьяным усердием, а потом потрянул оселедцем.

– Верно говорите! Отнять и перекрестить. И пусть будет Еленой. Чтоб язык мой, когда придет черед расточать ласки жене, ненароком не споткнулся на свинском имени. Заряжайте пистолы да ружья! Поехали.

8

Тимош ворвался в хату Карыха. Пусто. Аж зубами хлопец скрипнул из-за промашки своей.

– Да ведь он же у Гали Черешни!

Бежал, спотыкаясь: бессонная ночь, тяжелая выпивка – пудовые ноги.

– Карых! – крикнул у сеновала, не таясь.

Карых скатился к нему, делая знаки, чтоб унялся.

– Не ори! Родителей Галкиных разбудишь!

– В Суботове стреляют. Где твой самопал? Коня мне!

Стрельба гремела уже вовсю.

Не успел Карых сон с лица отереть, из хаты выбежал отец Гали, Остап Черешня.

– Что за пальба, хлопцы?

– У нас стреляют! Коня бы мне! Да хоть саблю какую.

– Галю! Оксана! Девки! – На улицу высыпали полуодетые дочери Черешни, все семеро. – Будите соседей. На Суботов напали. Седлайте моих коней, хлопцы.

Когда отряд прискакал на хутор, там уже все было тихо. Казаков встретил на крыльце сам Хмельницкий.

– Спасибо, соседи, что не оставили в беде.

– Да ты как будто и сам управился! – сказал Остап Черешня. – Уж не татары ли набегали?

– Пан подстароста с пьяных глаз. – Увидал Тимоша среди казаков: – Спасибо, сынку, что поторопился к отцу. Они, я думаю, ушли, завидев вас.

– Чего он хочет от тебя, Богдан?

– Пан Чаплинский-то? Хутор мой ему нравится. Хочет меня из дому выставить... Так-то, казаки. Уж такая теперь у нас жизнь. Приглянется поляку дом украинца, так того украинца – взащей... Езжайте, казаки, по хатам, солнышко взошло. Днем разбойники спят.

Рядом с отцом Тимош увидел татарчонка Ису с ружьем в руках. Понравился ему вдруг татарчонок.

9

В полдень Богдан Хмельницкий приехал в чигиринскую канцелярию. Предъявил грамоту на владение хутором Суботовом.

Канцелярист взял грамоту, прочитал и передал писарю:

– Перепиши грамоту в книгу. А ты, пан сотник, зайди через час. Все будет сделано.

И умен был чигиринский сотник, и хитер, недаром войсковым генеральным писарем его избирали, а тут не угадал, не почувал подвоха.

Вышел из канцелярии, сел на коня, раздумывая, где переждать час времени. Окликнули. С горящей бумагой в руке, держа бумагу вниз, чтоб горела лучше, облокотясь на косяк двери плечом, стоял пан Чаплинский.

Пока догадка подпаливала отупевший мозг пана сотника, грамота в руках подстаросты успела сгореть. Пан Чаплинский бросил черный скрюченный свиток на крыльцо, подождал, пока дотлеет, наступил на пепел ногой, растер и остаток смахнул с крыльца носком сапога.

– Лови свой привилей, пан Хмельницкий! И убирайся прочь с хутора. Эти земли пожалованы мне.

Хмельницкий шлепнул тихонько коня по шее.

– Я еду к судье, пан Чаплинский.

Подстароста заметил вдруг, что обе свои руки на пистолетах держит. Тихонько вздохнул, глядя в спину Хмельницкому.

– Вина! Всех пою! Мой враг сломлен.

10

Тимош обучал Ису игре в «хвыль». Сдавали по семь карт на пятерых. Чтоб игра получилась, пришлось принять дивчинок: Степаниду, Катьку и шестилетнего Юрка. Козырная дама и была «хвылью», высшей картой. Владелец «хвыли» брал «хлюст» – масть – и щелкал трех игроков «хлюстом» по носам, четвертого не трогал. Это его «подручный». Из карт подручного и своих он выбирал четыре козыря и начинал игру против «битых», которые тоже составляли общую четверку.

Первый ход был обязательно с «хвыли», и, если хвыленщик набирал три взятки, он и стегал каждого из противников по разу, если проигрывал, били его и подручного, но уже по два раза.

Тимошу везло. В подручные себе он выбирал всякий раз маленького Юрка, который в игре не смыслил, но козырной туз с ним не расставался.

– Я не буду так! – горько заплакала Катька, она была старше Юрка всего на три года.

– Терпи! – процедил сквозь зубы неистовый Иса, сверкая глазами. – Сейчас мы ему! Сейчас!

Но «хвыль» снова пришла к Тимошу. А вот карта к Исе: козырные туз, король, валет, десятка.

Иса претерпел от «хвыли» очередной щелчок, сложил карты и дал их разобиженной Катьке:

– Ходи!

– Я хожу, – возразил Тимош, почесывая затылок. – «Хвыль» ходит.

– Чего медлишь тогда? Ходи! – В груди у Исы клокотало нетерпение.

Тимош получил на «хвылю» валета и отдал три взятки.

– Ну! – сказал Иса, потирая руки. – Бей, Катька, первая, а я буду второй.

Катька взяла карты, подошла к брату, размахнулась. Тимош быстро-быстро заморгал глазами.

– Бей! – крикнул Иса. – Жж-ги!

– Мне его жалко! – У Катьки опустилась рука.

– Нас они били! Им было не жалко! – Иса даже на ноги вскочил.

Катка вздохнула, подняла ручонку, Тимош снова заморгал, и девочка отвернулась от брата.

– Не буду его бить.

– Тимош, бесстыдник! Так нечестно! – В голосе Степаниды дрожали слезы. – Чего разморгался?

– Дай, Катя, мне карты. – Иса потрогал свой красный припухший нос и даже зажмурился от ожидавшего его удовольствия.

– Да лупи ты скорей! – сказал ему Тимош. – Один раз выиграли, а уж раскудахтались! Правда, Юрко?

– Правда, – согласился Юрко, морща личико, он боялся расплаты.

– Не торопись! Сейчас получишь! Сейчас! – Иса размахнулся.

В тот же миг от удара сапога дверь бухнула, и в комнату ввалился пьяный пан Чаплинский с ватагой.

– Где Матрена? Найти! – пошел по горнице, пиная ногами сидящих на полу детей.

Тимош вскочил, ударил кулаком Чаплинского по носу, брызнула кровь. Пан Чаплинский взревел, схватился за саблю, началась свалка. Одни крутили руки Тимошу, другие держали пана Чаплинского.

– Не пачкайся! – обнял пан Комаровский своего свирепого друга. – Я этого щенка засеку!

– Засеки! – скрипел зубами пан Чаплинский. – Где Матрена?

– Ищут.

Тимоша связали, выбросили на улицу.

– Вон к этой бабе его поставьте, да так прикрутите, чтоб стоял, когда и ноги у него подогнутся! – Пан Комаровский яростно тыкал рукой в сторону большой каменной бабы во дворе.

Тимоша привязали к идолу лицом.

– Целуй ее! Целуй крепче! – Пан Комаровский ремной плетью перепоясал хлопца крест-накрест.

– Ох! – вырвалось из груди Тимоша.

– Ага! Почуял?! – Пан Комаровский хлестал и справа, и слева, и слева, и справа. – За благородную кровь тебе, хам! Хам! Хам!

Выдохся, бросил плеть жолнеру, вытер вспотевшее лицо шелковым платком.

– Что стоишь? Бей!

Плеть засвистела.

Из дома выбежал пан Чаплинский.

– Нет ее! Сгинула! Что делать? Пан Дачевский видел – в Чигирин ускакал татарчонок. Он найдет Хмельницкого, и тогда все пропало.

Пан Комаровский покрутил сначала один ус, потом другой и закричал на весь Суботов:

– Дай-ка мне плеть, жолнер! Я сам прикончу этого молодца! Слышишь, красавица? Если ты не выйдешь к нам, я засеку твоего приемыша. До смерти засеку! Он и теперь уже без памяти. Слышишь, я все сказал: на моей и на твоей совести будет его смерть.

Пан Комаровский щелкнул плетью по сапогу, чертыхнулся и решительно пошел к каменной бабе.

– Стой! Ироды! – раздвинув камышовую кровлю, выбралась на скат сарая Матрена.

– Лестницу! – крикнул пан Чаплинский.

Лестницу нашли, поставили. За Матреной полезли.

– Скорее! – Пан Дачевский был уже в седле. – Со стороны Чигирина движение.

– По коням! – крикнул пан Чаплинский. – По коням, и за мной!

11

– Спасибо, Степанида! – Богдан взял у дочери мокрое полотенце, выжал, положил Тимошу на лоб. – Не едут ли?

– Да уже приехали, – тихо ответила Степанида.

В горницу вошла мать Гали Черешни – Оксана, а с ней еще две женщины. Обступили постель.

– Ступай, Богдан! – Оксана ласково взяла Хмельницкого за плечи. – Слышишь, мы займемся твоим сыночком. Ступай!

Богдан согласно кивнул, встал, не забыв пригнуться в дверях. На улице его ждали несколько казаков.

– А поехали-ка, братцы, до пана Чаплинского, – сказал Богдан.

– Поехали! – согласились казаки.

В Чигирине им уже на околице сообщили: пан Чаплинский спрятался в костеле.

Когда подъехали к костелу, увидели жолнеров. Двери костела распахнулись, и, ведя за руку Матрену, вышел пан Чаплинский в окружении своей ватаги. У Матрены на голове блистала в лучах заходящего солнца фата, а пан Комаровский с паном Дачевским осыпали «молодых» деньгами и конфетами.

У Богдана потемнело в глазах. Спешился, тряхнул головой – темно. Сквозь туман увидел перед собой пана старосту, самого Александра Конецпольского.

– Пан Чаплинский венчался с пани римско-католическим обрядом, – говорил Хмельницкому пан староста, но слова его шли откуда-то издалека. – Я надеюсь, беспорядков не будет учинено.

– Беспорядков не будет, – словно за версту услышал Богдан свой голос, но тут свет наконец вернулся к нему, уши наполнились звуками. – Мне бы хотелось поздравить молодых.

Хмельницей пошел навстречу процессии, краем глаза следя за жолнерами, которые изготовили оружие.

За ушами у пана Чаплинского бежали дорожки пота, в ямочке над подбородком собралось озерцо. Хмельницкий усмехнулся: никогда не видел, чтоб человек так трусил.

– Пан Чаплинский, я вызываю тебя! – бросил перчатку под ноги «молодому». – Завтра, на заре, у твоего креста, да будет он тебе памятником.

Повернулся, подошел к лошади, сел в седло и уехал в Суботов.

12

Перед иконой Богородицы горела лампада. Стоя на коленях, беззвучно молилась Степанида. Тимош спал.

Богдан постоял в дверях и тихонько вышел. На другой половине дома, разостлав коврик, совершал намаз Иса. И ему не захотел помешать Богдан, взял тулуп, ушел на сеновал.

Заснул сразу, но скоро проснулся.

– Пятьдесят два года, – подумал вслух, и глубокая обида объяла душу его.

Жизнь была еще не прожита, но все главное позади. Был генеральным писарем, был счастлив в любви. Богатства не нажил, но и недостатка никогда не знал.

– С королем говорил, – снова вслух сказал Богдан. – Два раза. С графом де Брежи вино пил.

Вспомнил о графе, вспомнил свою поездку во Францию. Де Брежи был посланником в Польше, он пригласил казацких послов в Париж, чтоб договориться о найме казаков для войны

с Испанией. В кружевах, в парике, белые ручки перстеньками унизаны, а за каждую копейку торговался.

«Но я тоже не сплеховал, – думал Богдан. – Пришлось-таки графу раскошелиться».

В Париж, а оттуда под Дюнкерк отправились две тысячи четырехста казаков.

«Помри я нынче, какая память по мне останется? – спросил себя Богдан и ответил честно: – Никакой! Гетманов и тех забывают».

И сам себе возразил: «Смотря каких гетманов! Сагайдачного не забудут, Сулиму, Павлюка, Остряницу...»

– Я за сына да за Матрену собираюсь пана подстаросту сокрушить, за себя самого встал, а Наливайко, Павлюк, Гуня, Остряница – те за народ дрались, за поруганную честь Украины.

Спать не хотелось. Богдан спустился с сеновала, дал овса коню, смотрел, как тот ест, кося глазом на хозяина.

– Чего смотришь? – спросил коня Богдан. – Чуешь, что паны поляки ловушку мне уготовили? Не тревожься, уж сегодня я не позабуду панцирь под кунтуш надеть. Бог не выдаст, свинья не загрызет.

13

Он приехал к кресту один, пан Чаплинский ждал его сам-треть.

– Готов, пан разбойник? – крикнул, подъезжая, Богдан и обнажил саблю.

И тут сзади грянул выстрел.

Хмельницкий дал шпоры, развернул коня и увидел пана Комаровского с дымящимся пистолетом в руках.

– И-и-и! – по-татарски взвизгнул Богдан и помчался на пана Комаровского, доставая из-за пояса пистолет.

Гнал всю свору. Пан Чаплинский, пан Дачевский и еще какой-то пан, не дожидаясь нападения, повернули лошадей и стали уходить.

Хмельницкий выстрелил и увидел, что лицо пана Комаровского залилось кровью.

– За Тимоша!

Дома, снимая доспехи, услышал: что-то упало. Поглядел – сплюснутая пуля. Пуля пробила кунтуш, прошла через два ряда металлических пластин панциря и потеряла силу. Богдан долго глядел на дыру в доспехах.

– Позвонки бы перебил, сатана!

14

В тот же день из Чигирина прискакал от старосты гонец, пана Хмельницкого вызывали в суд.

Еще до суда узнал: пан Комаровский лишился левого уха, но живехонек.

– Ничего, – сказал Богдан. – Теперь он у меня меченый.

Суд был скорый и неправый.

– Покажи привилей на владение Суботовом, – попросил судья.

– Теперь у меня нет привилея, – ответил Хмельницкий, – но я показывал его в старостве.

– А где же теперь привилей?

– Его у меня выманили и сожгли.

– Я видел какую-то грамоту, – признал староста Конецпольский, – но не знаю, что это за грамота. Я не читал ее.

– Этой грамотой пану Хмельницкому жаловали корову на обзаведение, – сказал пан Чаплинский. – Корова давно сдохла, и я сжег бумагу.

– Значит, привилея у тебя нет, пан Хмельницкий? – спросил судья.

– Нет.

– Тогда твое дело проиграно. Пан староста Александр Конецпольский жалует хутор Суботов за верную службу подстаросте Чаплинскому. Два месяца тебе сроку для обжалования нашего суда в сенате, но так как доказательств на право владения хутором у тебя нет, можешь не тратиться на поездку в Варшаву.

– Нехай, потрачусь! – Богдан поклонился судье. – Правду сказать, я и не ожидал другого решения. Поеду поищу правду в сенате и у короля.

– У тебя что же, есть надежда склонить панов сенаторов на свою сторону? – спросил Конецпольский.

– Надежды нет, пан староста, но я хочу исчерпать, борясь за правду, все мирные возможности.

– Как это понимать, пан Хмельницкий?

– Я сказал то, что думал, а толкователям всегда видней.

15

Пан Чаплинский даже самому себе не признался бы, что пошел под венец в слепом порыве страха.

– Спяню! – объяснял он свою нелепую выходку друзьям. – Но сам Бог послал мне королеву. Истая дикарка, но королева.

На людях кичился, шумел, а по ночам думал о Хелене.

Красотой Матрена пани Хелене не уступала. Властная, могучая, она в первую брачную ночь выбросила Чаплинского вместе с периной за дверь спальни и заперлась.

Он сразу понял, что ничем ее не сломит: ни голодом, ни угрозами, ни мольбами. Послал к ней священника, и она смирилась, осознала, что все случившееся от Бога. Она ведь не наложница какая-нибудь, а законная венчанная жена.

Пустив пана Чаплинского к себе в постель, Матрена долго разглядывала его, и он позволял разглядывать себя, замороженный силой этой женщины, изумительной красотой ее глаз.

– А ты – красавчик! – сказала она ему.

Душа жены была для него за семью замками, и пану Чаплинскому уже казалось, что он угодил в хитрые сети.

Позорное бегство от Хмельницкого еще более сплотило друзей-трусов. Все они страдали от низости своего вынужденного союза. Боялись слухов и готовы были мстить за правду.

В эти тяжкие дни пан Чаплинский все время думал о пани Хелене. Пани Хелена готовится к свадьбе, а ее ждет удар. Чем этот ангел провинился перед Богом?

– Я убью Матрену! – кинулся за советом пан Чаплинский к пану Комаровскому.

– Но тебя тогда засудят. Она – твоя жена.

– Что же делать?

– Езжай к епископу. Да побольше денег с собой прихвати. У его преосвященства золотое правило – не давать советов бесплатно.

– Верно! – загорелся пан Чаплинский. – Я пожертвую на храм Божий тысячу злотых, только бы Господь Бог услышал мою молитву.

Глава шестая

1

Пани Мыльская давно уже так не высыпалась. Спала она в просторном амбаре будущей мельницы. Прошла мимо спящей на полу, поредевшей своей челяди, приоткрыв дверь, выскользнула бесшумно на улицу.

Влажная, умытая ночным коротким дождем, трава кинулась ей под ноги, зеленая, как по весне. Над ложиною трепетал, обмирая от своей же песни, жаворонок. Пани Мыльская послушала его, улыбнулась. Спустилась к речке, умылась. Отерла лицо платком и, бодрая, решительная, поднялась на пригорок, где с вечера был заложен дом. В этом доме пани Мыльская собиралась жить до выплаты долга, а потом поселить здесь мельника.

По углам будущего дома стояли хлеб и вода, а посередине – сковорода.

Пани Мыльская подняла со сковороды кружок и совсем расцвела. Муравьев наполнила целая пригоршня – чудесный знак: стоять дому долго и крепко, богатеть людьми и всяким добром.

Утренняя радость сулила работающий счастливый день, оттого и обиды сегодня казались горше.

Прикатила в лес прыткая артель и принялась валить деревья без разбора, кряду.

Пани Мыльская решила поехать к пани Выговской, спросить совета, а может быть, и денег, чтоб вернуть из посессии свои земли, своих людей. От пани Ирены можно всего, пожалуй, ждать.

Вещун сердце! Вещун!

Настегивая лошадь, прикатила на мельницу Кума, та самая, что претерпела от людей во время засухи.

– Пани-хозяйка! Спасай нас, бедных, от разора. Сбесилась пани Ирена! Господь не даст соврать – сбесилась! Вчера отобрала коров, а нынче со сворой слуг рыщет по хатам, забирает все, что приглянется. Долг какой-то с нас спрашивает. Спасай, матушка. Не то быть беде.

– По миру пустить хочет! – Горькая улыбка тронула губы пани Мыльской, да и замерла, закаменела. – Что мне сказать вам, люди? Терпите! Бог терпел.

– Некуда уж терпеть! – Кума упала в ноги, потянулась башмак поцеловать. – Пожалей нас, пани-голубушка! Пожалей! Пропадем.

Отшатнулась пани Мыльская:

– Эка улеглась! Не надрывай мне сердце. Сама все вижу. Вон лес мой под корень сводят, а я только гляжу да глазами моргаю.

Застонала Кума, рухнула в телегу, и закричали колеса, словно по сердцу проехали. Пани расплакалась вдруг, себе на удивление, гордая, твердая, гроза округи. Льются слезы сами собой, и все тут. На старости лет беда нагрянула, что ни день, то слезы и поругание. Выкупить бы Горобцы, но где столько денег взять, под какие такие залогов? Хоть бы сын приехал скорей.

Кутерьма в голове, беготня пустая – чем быстрее мысли летят, тем скорее ноги несут. А куда?

– Матушка-благодетельница, смилуйся!

Очнулась.

В дорогу, в пыль, как шли, так и бухнулись дедок Квач, казак молодой и дивчина.

– Да что это вы на коленках ползать наострились? – в сердцах вскричала пани Мыльская. – О чем просите?

– Арендатор ейный ключи от церкви забрал! – высоко, по-петушиному вытягивая тощую стариковскую шею, крикнул Квач.

– Какой арендатор? Какие ключи?

– Ейный! Пани нашей новой! Взял он себе ключи и без выкупа не пускает. Венчаться пришли, а в церковь ходу нет. Ему давай и давай. Было бы чего дать, дали бы. А что дашь? Пани все забрала. А он цену-то какую ломит! – шумел дедок, бестолково взмахивая руками.

– погоди кричать. Да встаньте вы! – рассердилась пани Мыльская.

Поднялись.

– Объясни толком, что у вас там дееется?

– А что дееется? – Квач заплакал. – Чистый разбой дееется. Привезла новая пани арендатора на наши головы.

– Пана Ханона, – подсказал молодой казак. – Пан Ханон церковь в аренду взял и замок на дверях повесил.

– А где отец Евгений, поп ваш любезный православный? – удивилась пани Мыльская.

– Так пан Ханон и отца Евгения в церковь за плату пускает.

– Бабка Лукерья на днях померла, без отпевания закопали, – выкрикнул сквозь закипевшие слезы дед Квач. – Одинокая она, Лукерья. Денег некому за нее было заплатить. Поп Евгений и бесплатно собрался, а Ханон церковь не отпер. Давай ему корову, и все. А где ж их напасешься, коров, на хозяев нынешних?

– Господи! – пани Мыльская уперла руки в бока. – Видно, и моему терпению конец пришел.

Развернулась – и на мельницу.

– Сапоги со шпорами! Пистолеты! – крикнула она слугам.

Сама-девятая примчалась к своему лесу. Стреляя в воздух, разогнала пыльщиков. Потом – в село.

Пани Ирена восседала на крыльце на красном, обитом бархатом стульчике пана Мыльского.

– Ах ты негодница! Ах ты злодейка! – вскричала пани Мыльская, выхватывая из-за пояса пистолет. – А пошла-ка ты, негодница, прочь из моего дома!

Пани Ирена махнула платочком слугам. Те расступились, и на пани Мыльскую с крыльца собственного ее дома уставилась медным хоботком – пушечка! Один из слуг насыпал на полку пороху, у другого в руках объявился зажженный фитиль.

– Убирайтесь прочь из моих владений, пани Мыльская! И прищемите хвост! Вы же знаете, я имею право даже полностью разрушить ваше село, ибо оно в посессии!

Парадные двери с торжественной медлительностью растворились. Толпа заворуженно смотрела в черный проем, словно ожидая явления сатаны. И вышел из дому голубой пан.

– Ханон! – прокатилось по толпе.

Голову пан держал прямо и твердо, а телом был гибок. Встал перед пани Иреной на одно колено. И только потом обратил синие глаза свои на толпу.

– Пани Мыльская? – спросил он пани Ирену, указав рукой на бывшую хозяйку дома и имения. – Пани Мыльская! Дабы окончательно не разрушить драгоценного вашего здоровья, не приезжайте в Горобцы. Вы сдали свое имение пани Ирене, пани Ирена сдала имение мне, так что для всех будет лучше, если вы вернетесь сюда законной хозяйкой через три года, как и указано в договорных бумагах.

– Господи, помоги мне! – Голос пани Мыльской сорвался от бессильного отчаянья. – О, пани Ирена! Я верну вам деньги. Не разоряйте моего гнезда. У меня ведь только одно село.

– Одно, а туда же! В посессию кинулись.

– Сын дороже села.

– Ну, это не моя печаль. Торопитесь, пани. Мне деньги нужны немедленно, и я их выколочу из вашего небитого быдла.

Крестьяне и казаки напряженно вслушивались в польскую речь.

– Простите меня! – Пани Мыльская сошла с лошади и поклонилась своим людям. – Простите за глупость. Потерпите, я соберу деньги и выкуплю вас из ярма.

– Не развращайте народ! – яростно топнула ногами пани Ирена. – Не забываетесь! Вы – полька.

– Дура я! Старая дура!

– Отобрать у крестьян все полотно, всю шерсть и всю овчину! – торопливо кричала пани Ирена подручным.

– Дьявол! – закричала зубами пани Мыльская, садясь в седло, и вдруг рассмеялась: – А ведь ты все это из мести! Ты за пани Хеленку мне мстишь. За красоту ее. Да чтоб ни один мужик не позарился на тебя, смрадную дьяволицу!

Настегивая лошадь, ускакала.

– Пали! – взвизгнула пани Ирена.

Выхватила у оторопевшего слуги фитиль, ткнула в порох.

– Убили-и-и! – полетел над селом дикий вопль, люди кинулись бежать прочь от злодейского крыльца.

Погибла старуха Домна. От нечаянной дурной злобы погибла. Не было у нее детей, родственники все были дальние, но мстило за смерть невинно убиенной все село.

Осадили дом ночью, и ускакала пани Ирена из села в нижней рубахе, впрочем не забыв прихватить кошель с деньгами.

2

Его преосвященство Савва Турлецкий, весной помявший зелена на полях пани Мыльской, лежал поперек огромной своей постели с полотенцем на голове, находя силы только на то, чтоб дотянуться рукой до серебряного кувшина на столике и хлебнуть очередной глоток кваса.

Епископу было скверно. Вчера, после торжественной службы в память святых и всехвальных апостолов Петра и Павла, на разговенах он помирился наконец с Мартыном Калиновским, польным гетманом, вторым человеком на Украине после коронного гетмана Николая Потоцкого.

Вражда у них была старая, очень их утомлявшая.

Получив епархию, епископ Савва начал с того, что изгнал незаконных владельцев имений. Один, правда, Бог ведал, как его преосвященству удалось доподлинно выяснить неосновательность претензий бедных землевладельцев. Но от кого же еще, как не от Бога, было послано епископу великое множество голодной родни. Раздавая родственникам имения, Савва Турлецкий всего лишь исполнял заповедь – помнить о ближнем, лично ему корысти от всего этого шума было никакой – одни хлопоты. Правда, свору он теперь имел большую и верную, только скажи – самого короля ограбят.

Добывая имения, епископ Савва нанес обиду какому-то родственнику Мартына Калиновского. Замок епископа и соборная церковь стояли на землях староства, которым в те поры управлял будущий польный гетман. Епископ был из православных, и староста, не боясь властей и ожидая блага от своего католического бога, на Пасху окружил собор гайдуками и пустил в храм одного лишь епископа. На соборную площадь привезли бочки с вином, прибыли музыканты, и начались танцы. Пьяные гайдуки палили из ружей в кресты, брали мыто с тех, кто не хотел пить вино и плясать.

Савва Турлецкий через год отыгрался. Он перешел из православия в унию, напал на замок одного из дальних родственников Калиновского. Женщин изнасиловали, ценности увезли, шляхтичей заперли в сырой подвал, а ключи от замков выбросили.

Мартин Калиновский понял, что зверь перед ним беспощадный, не ведающий меры, и – проглотил обиду. С той поры война шла по всем правилам подсиживания. Все течет, и все меняется. Пана Мартына Калиновского король пожаловал булавой гетмана польного. Но надолго ли радость? Ведь есть еще и булава гетмана коронного? Если человек назван вторым, нет у него никакой возможности хоть когда-нибудь стать первым, и польный гетман возненавидел гетмана коронного. Враждовать в открытую с Потоцким – все равно что подписать себе смертный приговор, но вот строить великому гетману пакости было за обычай у польных гетманов, и Мартын Калиновский выжимал из этой привилегии все, что мог. На всех врагов желчи, однако, не хватало, и польный гетман прощал своих старых обидчиков и сам просил у них снисхождения.

Вспоминая вчерашнюю лихую пирушку, его преосвященство корил себя за излишества и жадность к питию. Сам у себя отнял еще один приятный день, ибо сегодня он мог бы наслаждаться новым застольем, а вместо этого лежит пластом.

Пришли и доложили, что просит нижайше принять чигиринский подстароста пан Чаплинский.

Епископ слабо отмахнулся, но слуга, видимо получивший хорошую мзду, не уходил:

– Потом... завтра! – прошептал его преосвященство и махнул на слугу рукой, уже в сердцах, чтоб поскорее избавить себя от муки шевелить ноющими мозгами.

– Может, таз принести? – намекнул наглый слуга.

– Фу! – дунул епископ.

Слуга исчез.

Постанывая от жалости к самому себе, его преосвященство дотянулся до кувшина, выпил несколько глотков, и боль оставила его на мгновение. Он лег на подушки, прислушиваясь кнутри и наверняка зная, что тошнота и головокружение скоро опять примутся за него.

Дверь отворилась, и мерзавец-слуга доложил:

– Приехала пани, говорит, что вы обязательно ее примете.

– Но я не могу! – печально сказал Савва Турлецкий.

– Она просила напомнить вашему преосвященству о похоронах пегой кобылы.

– Вот оно что? – Глаза епископа блеснули и тотчас сделались жалобными. – Неси таз, скот надоедливый!

3

Страдающие темные глаза, бледное чело, безвольно сложенные губы – лицо человека, охваченного мировой скорбью. Его преосвященство стоял у зеркала и старательно жевал орешки, отбивающие запах винного перегара.

– Зовите... ее! – сказал он.

Да, это была она, пани Ирена Деревинская.

Он благословил ее и только потом позволил себе поглядеть на просительницу мирскими оценивающими глазами. Забота придавала быстрым глазкам пани Ирены неподступную строгость и волнующую глубину. Его преосвященство был очарован. Он испытывал облегчение от одного только сознания, что унижения, пережитые им на полях пани Мыльской, стоили того.

Пани Ирена хмурила лобик, признав негодными вдруг все слова, которые она заготовила для объяснения своего визита.

– Позвольте пригласить вас к моей трапезе! – выручил красавицу епископ, чувствуя себя героем: от одного воспоминания о питье и еде мутило.

Севши за стол, его преосвященство хватил водки, обомлел от гадкого вкуса, содрогнулся от омерзения к самому себе и – родился заново.

– Разрешите мне удалиться на несколько минут, – испросил соизволения епископ и очень скоро вернулся, одетый в мирское. – Так и вам будет свободнее, пани Ирена, и я буду... свободнее...

– Вы – настоящий рыцарь! – воскликнула пани Ирена, вспомнив слова пани Мыльской.

– Увы! Увы! – возвел руки к небу его преосвященство и предложил тост за озарение светом, источаемым гостьей.

На столе было множество закусок и лакомств, но пани Ирена потянулась к дальнему блюду с вареными раками.

– Вы любите раков! – просиял его преосвященство. – А не хотите ли посмотреть на «рачью свадьбу»?

– Разве и такие свадьбы бывают?

– Еще как бывают!

– Ах! – горестно вздохнула пани Ирена. – Я, конечно, хочу на «рачью свадьбу», но ведь я приехала к вам по скорому и неотложному делу.

– Тогда давайте покончим с делом, если оно единственная помеха в желании жить как хочется.

– Но дело непростое.

– Говорите! Говорите! – вскричал епископ. – Я хочу успеть показать вам прелестнейшую «рачью свадьбу».

– Ваше преосвященство, дело в том, что я почти разорена, – быстро сказала пани Ирена, – но не это меня тревожит. Вчера вечером было нападение на мой дом, и я чудом спаслась бегством.

– Бунт?! – побагровел епископ. – Вы желаете, чтоб я помог наказать холопов?

– Да, ваше преосвященство, я прошу у вас защиты.

– Говорите же, куда я должен послать гайдуков?

– В Горобцы.

– В Горобцы? Но это же имение пани Мыльской?

– Пани Мыльская отдала мне село в посессию.

Тень сомнения набежала на лицо епископа, но на одно мгновение только. Он позвонил в колокольчик. Слуге сказал:

– Поставь прибор и позови пана подстаросту.

Пани Ирена прикусила губку.

Слуга скоро явился опять:

– Пан Чаплинский просит принять его по совершенно секретному делу.

Пани Ирена облегченно вздохнула, и его преосвященство, от которого ничего не укрылось, встал из-за стола.

– Пожалуй, так даже лучше. Я пошлю пана подстаросту усмирять бунт, а с вами мы поедем на «рачью свадьбу». – Епископ пошел было к дверям, но вернулся. – Заботясь о вашей безопасности, пани Деревинская, я просил бы вас на некоторое время оставаться под защитой стен моего замка. Будьте в нем полновластной хозяйкой.

– Я не знаю, как вас благодарить, ваше преосвященство! – Пани Ирена посмотрела епископу в глаза и улыбнулась.

4

Пыль серебряной рекой лилась по дороге из-под копыт и колес. Пани Ирена и пан Инкогнито, одетый венгром, катили на «рачью свадьбу» в село Веселки.

– Впервые встречаю пани, у которой такая сильная воля! – признался его преосвященство.

– Вы ожидали, что я попробую выведать, чего ради приезжал пан Чаплинский? – спросила пани Ирена.

– Вот именно! Не знаю, как у вас, а у меня терпение лопнуло, я должен поделиться новостью.

– Видимо, новость захватывающая.

– Еще бы! Я просто счастлив, что пан Чаплинский доверил мне свою тайну не на исповеди... Он, слава Богу, католик, я – униат. – Савва Турлецкий с удивлением воззрился на спутницу. – Вы и вправду удивительная женщина. Даже теперь не торопитесь с расспросами.

– Ах, это моя единственная добродетель. Ждать я умею.

– Так слушайте! Пан Чаплинский попросил у меня помощи. Ему нужно спровадить свою жену в монастырь.

Пани Ирена вздрогнула:

– Он женат? Но как он мог скрывать это? Я совершенно точно знаю, что некая особа собирается за него замуж.

– В том-то и дело! – У его преосвященства в глазах прыгали искорки. – Пан Чаплинский – человек широких замашек. Всего несколько дней тому назад он неожиданно для самого себя... венчался. Отнял у какого-то сотника красивую наложницу и в тот же час обвенчался. Конечно, был он чрезмерно пьян, и друзья его были чрезмерно пьяны, но дело совершилось... Теперь пан Чаплинский в отчаянье. Он готов наложить на себя руки.

– О! Не беспокойтесь! Этот человек себя не убьет, – засмеялась пани Ирена, совершенно счастливая.

Какое отмщение! Само Провидение наказало блудливого пса!

– О чем вы задумались?

– Я думаю о бедняжке пани Хелене. Ей так хотелось замуж за пана Чаплинского. Пан Чаплинский превосходный танцор. Он не чаёт мазурки без того, чтобы не отстрелить каблучок на туфельке партнерши.

– Ах, мазурка! – покачал головой его преосвященство. – Теперь я и сам думаю, что это всего лишь сон, но как я танцевал! О, пани Ирена!

Село Веселки раскинулось на высоком берегу ленивой илистой речушки. В реке и в озерах, которых здесь было множество, водились раки.

На Петра и Павла женщины дружно отправлялись на ловлю и, наловив раков, торговали ими, складывая деньги в общую кубышку – на вино.

Пани Ирена и ее одетый под заезжего венгра спутник успели на самое интересное зрелище «рачьей свадьбы» – рачьи бега.

Посредине торговой площади был врыт в землю свежеструганый, очень длинный, широкий стол. Щеголяя друг перед дружкой изобретательностью, женщины пускали на стол, на смотрины, самых видных из себя раков и рачиц. Раки были в свитках, в шароварах, а иные в жупанах, в шубах и даже в латах. Рачицы все в юбках и кофтах, с венками на голове.

– Позвольте и мне пустить рака! – загорелась пани Ирена.

– Входи в долю и пускай! – смеясь, подзадорили ее крестьянки.

Пан «венгр» достал несколько золотых монеток и бросил на стол.

– О! О! О! – раздались восторженные голоса. – Дайте пани лучшего рака, и начнем бега сызнова.

Пани Ирена выбирала сама, больших отвергла, выбрала среднего, очень подвижного, одетого под янычара.

– Боюсь, что вы промахнулись! – шепнул пани Ирине на ухо ее толстенький кавалер.

Но пани Ирена не промахнулась. Ее избранник припятился к другому краю стола первым, и за это пану и пани поднесли по чаре вина.

– Какой у вас глаз! – горячо бормотал епископ, когда коляска катила сквозь сумерки по сиреновой степи, и пани Ирена, притихнув, терпела его губы, руки и никак не могла подыграть, хотя не хотела и даже боялась холодностью обидеть такого нужного теперь человека, в общем-то совсем не противного.

5

Она победила себя, и наутро Савва Турлецкий, целуя пани ручки, сказал:

– Вы подарили мне одну ночь, но я теперь жажду разделить с вами все будущие ночи, которые пошлет Господь.

– Вы же знаете, это невозможно. Я не могу находиться в вашем доме. Ваш сан, моя честь! – Пани Ирена рассмеялась с нарочитой невеселостью.

Его преосвященство взял пани Ирену под руку, и они стали прохаживаться по огромной зале.

– Пока не пришли вести от пана Чаплинского, вам небезопасно покинуть мой дом.

– Я буду жить в Кохановке.

– Пани Мыльская – женщина решительная и отважная, но дело даже не в том. – Савва Турлецкий подвел пани Ирену к окну: – Вы видите на другом берегу озера дом?

– Дом? По-моему, это дворец. Он как занятая заморская игрушка. Я все собираюсь спросить, чьи это владения?

Его преосвященство улыбнулся:

– У меня свободное утро, и я хотел бы показать вам мои безделушки, если вы не возражаете?

– Существует ли на белом свете такая женщина, хотела бы я знать, которая откажется поглазеть на драгоценности?

– Прошу вас! Не подумайте, что я нарочито ухожу от ответа на ваш вопрос о доме на другом берегу озера, но тут целое повествование.

– Я бы охотно послушала сказку об индийском принце, околдованном злодейкой-персианкой!

– О! Никакой магии здесь нет! Я предупреждаю вас заранее, история, которую я собираюсь рассказать, совершенно обыденна и, пожалуй, ничтожна.

Его преосвященство, неслышно ступая, шел рядом, грузный телом, но в движениях легкий, ловкий – и загадочный. В его взгляде была какая-то особая властность. Но Савва Турлецкий готов был прощать людям очень многое, ведь он даже и не подумал мстить пани Мыльской – приключения, случившегося с ним, не скрывал, рассказывая о нем, смеялся, заражая веселием слушателей.

Они вошли в маленькую, светлую комнату. Окно выходило на озеро, дворец-игрушка был отсюда очень хорошо виден.

– Там даже пристань есть! – удивилась пани Ирена. – Боже мой, и кораблик! Маленький, но совершенно настоящий!

В комнате была печь, стол с инкрустацией и два кресла.

– Так что же это за история? – напомнила пани Ирена.

– Давайте сядем. История коротенькая. Один шляхтич, невероятно гордый и столь же невероятно бедный, однажды вынужден был пойти на поклон к магнату, ибо предстоял военный смотр, а шляхтичу приходилось носить лапти, прикрывать тело мешковиной и полысевшей шубой, потому что была она шита из подстилки для ног. Шляхтич был разорен судами за дела, к которым он не имел никакого отношения. Дела эти достались ему по наследству.

Магнат, человек ума самого недалекого, дал несчастному одежду, оружие и коня, но не отказал себе в удовольствии выставить шляхтича перед гостями. Не из куража или ради насмешки, а ради того, чтобы доказать кому-то необходимость заступиться за сословие разорившейся шляхты, и все же это был ужасный поступок. Тот шляхтич поклялся жить для того только, чтобы поменяться с магнатом ролями. Чем нелепее цель, тем она достижимее. Ведь человек освобождает себя ради достижения цели от пропасти запретов и условностей. Скажу вам, пани Ирена, тот шляхтич своего достиг. Пришло время, и магнат валялся у него в ногах, но торжества шляхтич не испытал. В тот миг его поразила глубокая скорбь. Он понял, что устроил из своей жизни фокус, что он погубил самые замечательные свои годы... Пани Ирена, я рассказываю о себе. И есть у меня теперь другая мечта. Я хочу, чтобы дворец, стоящий напротив моего замка, принадлежал женщине, которая, не связанная никакими узами, почитала бы меня за своего супруга.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.